

Храмов Н.Н.

Звукотворение

Том II



Н. Н. Храмов

Звукотворение.
Роман-мечта. Том 2

«Издательство «Перо»

2020

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Храмов Н. Н.

Звукотворение. Роман-мечта. Том 2 / Н. Н. Храмов —
«Издательство «Перо», 2020

ISBN 978-5-00171-462-0

...Накануне великих битв и потрясений родился он. И ежели в ночнеющем небе вспыхнула ещё одна звёздочка бесценная, то поди сыщи её! Вон сколько их, где тут новенькую заприметить-различить? Пусть искорка та и боженькой засвечена-возжена, аки лампадочка свещеносная...

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-00171-462-0

© Храмов Н. Н., 2020
© «Издательство «Перо», 2020

Содержание

Глава третья	7
Конец ознакомительного фрагмента.	89

Храмов Н.Н

Звукотворение. Роман-мечта. Том 2

© Храмов Н.Н., 2020



Слова – это звуки души, а потому бессмертны, как и она.

A handwritten signature in black ink, reading "Н. Храмов." (N. Khramov). The signature is written in a cursive style and is underlined with a single horizontal line.

Глава третья

По ступенькам поднимись...

Серёжа родился в мае.

Цвело, пело разногласно, ликовало и сверкало вокруг, сплошь и рядом, и совершенно не верилось, что на этой же самой земле, под небом единым, иссиня-голубым, со златотканым ли солнцем, среброшитою луной, за горизонтами родимыми, обетованными голодные, грязные, шелудиво-вшивые, тифозные полу-калеки, тяжело и легко раненные да и здоровые, без царапин, ссадин и рубцов (помилував боженька!), чьи глаза сжигались лихорадочным блеском внутренним, душевным, а лица казались одинаково отёклыми, пыльными, кирпично-ржавыми, тяжёлыми, замкнуто-сургучными даже в минуты бездумного порыва, отчаянного, буйного веселья, хотя, конечно, встречались в общей их массе физиономии осанистые, не в меру холёные... так вот, хоть ты убей, но не верилось, что на нашей земле, в маях-садах белокипенных *люди*, люди в шинелях с нашивками позументными и вовсе без порток почти (в дымину проигравшиеся, опустившиеся ниже плинтуса...), люди отчаянные и отчаявшиеся, подъярённые, тоскующие смертно, удалые-бравые и невезучие, словно кто допрежь сглазил их, счастливые (только сейчас и только здесь, на первой мировой, они поняли, наконец, чего лишились...) и счастливые именно воспоминаниями своими, но, в основном, понурые, мяклые, телом-духом квёлые... наши русские люди, так вот, совершенно не верилось, что *наши русские люди* захлёбывались кровью – вытекала из порубов-ран, задыхались от вони окопной, состоящей из едких запахов гари пороховой, пота, испражнений собственных; бедняг мутило, выворачивало наизнанку – страшно, муторно, тошно было им, неведомо каждому, настолько невмочь, что иной раз то один, то другой беспричинно, озлобленно глухо-люто-людоедово рычать принимался, теряя напрочь первородный облик, человеческий вид, вперив осоловелые бельма на командирика «свою» – «голубых кровей», вестимо, «белой кости», ядрёнить, хотя, в сущности, мало чем отличался от подчинённых, от рядовых бойцов «ахви-церик» тот, ибо нередко являл собой недочеловека в мате-пьяни-гордыне, и к тому же особа та разила на версту одеколонишком дешёвеньким и портянками-носками-трусами нестиранными смердило от «вашброды» той и «ароматы» сии усугубляли чад, невыносимее, проклятие делали его; отравляющие эти пары унижали весну, вливая в гниль-настой позиционной войны какую-то особенную нетерпимость, нестерпимость, несмотря на кажущееся, мнимое единство поручика-подпоручика с «солдатнёй» – дескать, в одной упряжке вохаемся... мнда-а... цвело, пело, изумрудно сияло благолепие вешнее, вшаширь-взакрай рвалось, в стозвоны благовестные – но им, фронтовикам, горе мыкающим до победного, шибко не по себе было: поносили почём свет траншейки могиловые, молились скрюченно, истово, ловили *треперстия* – знамения творимые, взахлёб, навзрыд и втихомолочку грезили о чуде, ждали и не ждали милости, возвращения былого, а может, не существовавшего, а просто когда-то приснившегося, а? тянули-смолили «бычки», самокруточки жидкие, делились думами-гребтами, в коих через слово – образы мамушки, жёнки, дитяток оставленных... замыкались в коконе страха-безнадёги окаянных, стрелялись!! и до дыр зачитывали реденькие, тёплые-нежные строчки из дома, повторяя заведённо, молча и вслух, имена марысь и марушь, евдокий, фёкл... митятей, покуда ещё не безотцовщины, не сирот (ах, имена-имена! имена-имена... сколько вас на планете от солнышка третьей?! Не запомнать бы в бездушии, в бойне адовой-нешуточной, в недороде также...) – да-да, не сирот, не вдов, но кому ведомо, что принесёт на крыльях чёрных завтрашний рассвет, что уготовано через день-деньской, через час-другой и вполне ведь «могет» статься, что все они, *наши русские люди*, оставят мир живых, эту живодёрную весну, покинут сродных навек, как когда-то

(Господи, сколько ж прошло с поры той...) покинули отчий кров, уйдя на ненавистную, подлую ВОЙНУ.

Серёжа родился в мае...

Инно «грят»: уж лучше бы ты и не появлялся на свет божий! Относится ли это к нему? Но разве вправе кто вообще мыслить, вопрошать такое, и тем паче прямо, однозначно ответствовать на вопросище? Тогда зачем произносят слова эти, швыряют куда ни попадя, даруют им право жить среди нас и провоцировать многих невольно вымолвить их – то ненавистно, а то и жалеючи?..

В минуту, когда вскричал плаксиво новорожденный, из материнского – во земное лоно перейдя, сотни пленных самых разных национальностей, вероисповедания, в основном, христианского, задыхаться, гибнуть в корчах-муках начали, в отвернувшуюся от них, грубо отталкивающую всех и каждого землю пальцами дрожащими с ногтями в заусеницах грязными вгрызаться стали, дабы от газа спастись мучнистотуманного, по-над человеческим пушечным мясом стелющимся едко, смертоубийственно. Остервенело, сатанински рвали волосы (представьте себе диавола многоглавого, мохнатого, вырывающего клочья-лохмы и расшвыривающего их, и орущего, и мечущегося загнанно...), заходились кашлем страшным, пытались разжать, разжать невидимые железные обручи на шее, петли на горле, ползали взад-вперёд, сталкиваясь лбами, лезли друг на друга, безумно вытаращив залитые ужасом глазищи, тщетно отыскивая путь к спасению... хватали зубами сочные стебли, вдруг жевали их, выплёвывали, вылёвывали, потеряв облик людской, давились порциями отравы химической, не запрещённой ещё всякими там конвенциями – и замирали, пластались недвижно, смиренно, *потрунев*, а незримый и незрячий спуд тишины небовой смачно, с хрустом угадываемым вдавливал в заоблака души грешные-безгрешные из поз и неестественных и, если привычных, то восковых будто, вмурованных навек в памяти очевидцев, запечатлённых крепко-накрепко на сетчатке случайных и не случайных глаз... Прочь! Вон! Геть!.. Прочь, вон, геть из тел!! Душа должна томиться в преисподней, человек же – тля земное, вот он – мертвяком валяется. Гримаса, маска. Муравей в щетине блукает. Белая от соли роба на ветру не полощется – к потной коже прилипла... Просохнет когда, окоченеет труп...

А вот – другой человек. Человечек... Только что народился. Ему какое дело до всего ЭТОГО? Сморщенному, с перерезанной пуповиной, красному, в волосиках, тельцу, на чёрный светушко вылупившемся, на чёрный свет да на суд божий-людской, который один и есмь. Ему, ничего пока не понимающему, не подозревающему... И что ему дезертирства, мордобои, звания и листовки, знамёна, изрешечённые пулями-осколками и подвиги, и облыжные поцелуи иуд, объятия сердечные, сермяжная правда кобзарей, калик переходжих, юродивых?? Что?! Не знает-не ведает ни о чём он – он, в дом наш сумасшедший входящий, где «канареечка жалобно поёт»!

Мир – ему.

Ещё проникнет в дали заманные, проразумет, как Иван-медведь на пару с Иванушкой-недурочком впряглись в оглобли сошные, крикнули-дыханули... под «Дубинушку» в разнос пошли!

Про отречение Николашки-кровавого в своё время узнает и про распутства бесчинные, разгоны-расстрелы, расстриг...

Про Ильича – вождя угнетённых – непременно.

Про путь крестный Родины и про...

Покуда же призрачно витает-реет всё ЭТО и другое многое над льняным лоскуточком белейшим, где лежит себе несмышлёныш – он, лежит и сучит ручками-ножками умильно, кривит ротик, масенький язычишко показывает... Витает-реет-парит и перстом невидимым указывает будто: мол, постигнешь, поймёшь. Возвернёшь сторицей заказанной, никуда не денешься, щедро на алтарь положишь... сейчас же кричи-надрывайся до посинения, рви пупок. И он

орал, словно многопудье креста голгофского до срока примерял, облегчая на граммулечку крохотную нашу общую сизифову ношу.

Накануне великих битв и потрясений родился он. И ежели в ночнеющем небе вспыхнула ещё одна звёздочка бесценная, то поди сыщи её! Вон сколько их, где тут новенькую заприметить-различить? Пусть искорка та и боженькой засвечена-возжена, аки лампадочка свещеносная.

Родился – и тотчас осиротел: не вынесла мук бедная женщина вдовая, отошла, материнства не пригубив даже. Хорошо хоть, незадолго до схваток первых определилась наконец: будет мальчик – Серёжей назовёт, девочка – Алёнушкой. И успела поделиться решением оным с повитухой, которую, конечно, знавала, не зря в одной деревеньке бедовали, не то осталась бы несбывшейся последняя воля несчастной. Ужели предчувствовала близкую кончинушку свою? Нет ответа и не будет уже... Вот так новорожденного и приняла чужая женщина, чужая временно-бездетная мать. Здесь всё наоборот – и месяца не прошло, как собственное дитячко потеряла, вот и покумекала: чем сжеживать молочко-то, лучше малютку-сиротинушку выкормить-выпестовать, благо папаша, Бородин, в отказ пошёл: не моё семя и точка! Ребёнку неведомо, чью грудь сосёт, посапывая – его первым словом будет «ма-ма»! Зато не раз и не два кольнёт сердечко нашей кормилицы поневоле – не для неё словечко вымолвленное, не для неё! Хотя... не та мать, что родила, а та, что воспитала. И всё же, всё же... Да, но ведь и она ребёнка имела, жаль вот, слабеньким оказался... помер. Зато живее живого была жажда материнства – сподвигла новую героиню повествования нашего на вполне объяснимый шаг. О чём только не грезила, не мечтала, склонившись над люлькой (не опустевшей однако!), где безмятежно, тихо-сонько подсапывал её мурлыканью нежному он, Сергунчик, Серенький (так домочадцы прозвали младенца за глазёнки дымчато-пепельные...), весь такой ухоженный, сытый, здоровый, хотя сама зачастую недоедала. Когда же воспалённые от бдений ночных очи её неудержимо слипались и она обессиленно роняла на грудь голову, а потом, вздрагивая, размежёвывала веки – в минуты такие бессонные, мутные начинало казаться ей, что комочек запелёнатый, Серёженька, и есть тот самый усопший сыночек её, сыночка... Шло время и ощущение странное это всё острее, больнее переполняло сущность женскую, вспарывало душу. Так, постепенно, исподволь происходила невероятная подмена одного другим... и отступали, пропадали скорби по Сашеньке-ангелочку, не дожившему всего-ничего до месяца... и была она, Екатерина Дмитриевна, (в девичестве Азадовская), утешной уже и стала принимать Сергуньку за Сашка, а вымысел, иллюзию нечаянные закрепляли сердечные материнские бдения и, наконец, спуталось-смешалось всёшеньки. Не удивительно посему, что позднее чаще частого ловила себя на том, что именно с Серёжей, то бишь, с малюткой, находящимся в зыбке, и связано материнство её изумительное, что никакого собственного ребёночка не теряла и, будьте уверены, никогда не потеряет.

О чём только не передумала, как только не испереживалась, выполняя свой сладостный долг-не долг! Не в её ли колыбельной песне щемили, за живое брали не жалкого счастья крохи:

Спи, мой маленький, мой нежный,
Жизнь моя!
Не утратила надежды
Мать твоя.
Будешь сильным и счастливым —
В добрый час!
Отдохни покуда, милый,
Хоть сейчас.
Как волной тебя качаю —
Баю-бай...

Улыбаюсь, всех прощаю
В этот май...

«Всех прощаю...» Хорошо, плохо это?? А может, так и нужно: никакое счастье, тем более – материнства, не приемлет ни грана ожесточённости, ни грана того, что за пазухой до поры до времени держим, иначе какое же то будет счастье? Неполное, с косточкой!

Екатерине Дмитриевне около тридцати. Жизнь-судьба обычно складывалась: сколько себя помнила, на нелюдей вкалывала, на чужеспинников, да ещё отцу-матери по дому подсобляла. В семье, кроме неё, пятеро детей, мал мала меньше, братишек и сестёр, а раз так, значит, и дел невпроворот: протопить, стготовить, прибрать, обштопать-обстирать, ну и далее... казалось бы, с ума сойти, а она – улыба – напевает что-то под нос и делается окружающим легко-хорошо, словно от молитвы светлой.

Спокойное, затуманенное чуть лицо приковывало к себе взгляды некоей отрешённостью величественной, высокою, также стоической мудростью, кои сквозили из души пичужной, праведной, создавая образ сильный, цельный – женственный. Черты его были самые характерные, внешне даже неброские: обычный лоб с одной-единственной, еле-еле угадываемой морщинкой плавно перетекал в абрис-не абрис – в нечто воздушное, созданное из зефира, из божественных лепестков, лоскуточков нежнейших для поцелуев, любви, восхищения... в летящий овал; сверху же лоб зашторен был, а правильнее – омыт накатившейся волнистой чёлкой роскошных, золотисто-русых, умело убранных назад и в косу заплетённых волос – коса нет-нет, да свешивалась на прямую, царственную грудь; закруглённый и слегка бледноватый нос, тонкие, при разговоре словно вспыхивающие, подрагивающие мило губы, в улыбке алой расцветающие прелестно, стройные, милые, такие выразительные уста! придавали облику выражение постоянной готовности дарить добро, постоянной готовности к самопожертвованию высокому... что до глаз, огромных, внимательных, наполненных внутренним сиянием, то они казались двумя загадочными чувственными омутами, на дне которых живут неистребимая, неизбывная вера, желание понять, проникнуться чем-то (кем-то!) очень родным, близким, принять его, а также неразделённая, святая любовь. Наконец, подбородочек, не подбородок – подбородочек без тени намёка на ямочку посередине, с кожицей плотной, белой, придавал портрету умильную детскую чистоту, если хотите – кукольность и наивность... Он несказанно завершал впечатление отданности кому-то абсолютной, потребности жить для кого-то, жить искренне, самозабвенно... до конца. Однако описанное бегло выше – ещё не всё, далеко не всё. Крохотная родинка – родинку не смоешь! – усиливала след, коий не мог не оставить прекрасный, без изъянов, лик в душах тех, кто созерцал, общался, просто находился рядом с ней. В точке живописной этой соединялось заведомо несоединимое – стойкость и хрупкость, доверчивость и кокетливость... страстная, затаённая глубина, тихое, от большинства «досужливых» скрываемое томление и озорной, поверхностный погляд на серьёзные вещи, что было далеко не так. Изложенного здесь стало бы достаточно для многих иных описаний представительниц слабого пола – девушек, женщин, но не для Катюши. Ограничиться подобным набором мазков, штрихов – значило бы заведомо опустить наиглавнейшее: помимо упомянутой отрешённости, возвышенной от сует мирских, кроме мудрости глубинной героиня наша излучала особую, резонирующую с окружающим... колышень? ауру? трепетность... этакий незримый ореол подлинно русской ментальности, натуры! Любой, подпадавший под магнетические чары сии, просто не мог не вдохнуть вешней поэзии собственного пробуждения – поэзии радости, счастья, муз... Слёз!.. Будто бы Катюшенька собиралась переступить какой-то незримый порожек, а там, за чертой не проведённой, начиналась сказка, и ты, ты, посвящённый, оказавшийся случайно возле, погружаешься вдруг в удивительное *блаженство* лицезрения и несбыточного породнения с гениальным автором предыстории *женства* всего.

К тому времени, когда она взяла себе Серёжу, отца и матери у неё уже не было: задолго до старости помирал люд простой. Тяжёлая жизнь заставляла рано в могилы сходить, только тяжёлая жизнь – голодная, нищенская. Оголившая. И заботушка о братишках-сестрёнках меньших пала на Катины, развёрнутые встреч бедам, плечи. Хорошо хоть, земелька, огородишко свой имелись. А ещё хорошо то, что Серёжу приняли с нежностью, не увидели в нём седьмого в общей сложности рта – напротив, прониклись домочадцы невеличкие умилением искренним, расстрогались, когда комочек маленький, беззащитный, живой, в их мирок дружный попал – полюбили ребятёнка сразу, налюбоваться-наиграться им не могли к заботе новой Екатерины Дмитриевны.

Пару лет назад побывал проездом почти в деревушке тойной офицерик девятого, дворянского, между прочим, роду-имени Павел Георгиевич Бекетов – дальше продолжать? И пошла она, Катюша, под венец, стала Бекетовой, родила сынишку, да помер младенец, это мы знаем. Муж ещё раньше на фронт убыл: служба-с! Осталось только доложить читателю, каких мук, раздоров и сомнений внутренних стоило ей, чтобы отписать половинке своей на «германскую» про горяшко случившееся и сообщить в придачу о Серёженьке-приёмше, хотя Павлушу любила, верила: истолкует верно решение оное, поддержит, благословит (не за ради красного словца!) Лгать, выдавать Серенького за Сашка в мыслях ни минуты не держала: и не в соседских языках длинных дело тут, просто не хотела на неправде семью строить. Супруга уважала. Себя. Будущее сына – сына! – превыше всего ставила. Ответственность такая дорогого стоит. К чести Павла

Георгиевича, не обманулась Екатерина в надеждах-ожиданиях. В письмах редких офицер бравый нежно успокаивал хозяйку милую, обещал воротиться с победой и помочь в налаживании быта-уюта семейного. Кстати, денжат регулярно высылал, не смотря на то, что не больно аккуратно в полк, где служил-воевал, довольствие финансовое подвозили. Иначе бы – тоска зелёная, ой, как худо пришлось бы родимце.

Деревенька, где происходили события, Малышкой называлась, и в среднем течении Волги бедствовала, как сотни других поселений подобных – до Симбирска рукой подать. В ней, посконной, и сделал свои шажочки первые Серёжа Бородин, получивший с лёгкой руки Екатерины Дмитриевны отчество от Бекетова – никому и дела не было до мелочей этих!

Широко, привольно разливалась весной великая река народная... и выходила река из берегов, к неблизким ли, близким строеньцам подступала вплотную, затопляла не одно и не два домишечка... и стремилась река дальше, дальше, отвоёвывая у суши-пахоти вёрсты целые столбовые, и сливалась река с озерцами, протоками небольшими, образовывала сплошной под небом глазуревый покров, статью своей державу российскую напоминая... Чудилось: в неутомимом, могутнем, вместе с тем и сдержанно-замедленном порыве большой воды кроется нечто родственное душе русской, мнилось: в текучих, переливающихся пластах волнительных страстно произрастают вековые корни древа жизни... Обильно цветущая лиственница сменялась в краях здешних полями заливными, к которым подступала степь безбрежная-калмыцкая, подкрадывались из-за горизонта леса дремучие, замуромские... а из далёкого далёка доносилось едва угадываемое, неуловимое дыхание тайги... Так прибором незримым накатываются весна, лето, осень, зима... подтверждая вечное движение сущего в мирожитии... И почему-то оченно кажется: всегда было, всегда и будет эдак, ничто и никогда не изменит установленный свыше порядок вещей, хотя, по трезвому раздумью, сознаёшь-таки, что миллионы лет назад ничегошеньки этого не существовало в помине. И действительно, глядя на деревце юное, на следы рыбарей да бурлаков (особливо в 19-м веке...) вдоль побережья песчаного, иной раз невольно проникаемся мы ощущением, что приметы сии не вчера и не час назад появились – что вековечны они, впечатаны, впаяны в окружающее, словно диковинные инклюзы в необъятный янтарище поднебесный. Чувство светлое и понятное: исподволь хочется ведь о времени быстролётном забыть, о том, что непостоянного больше, больше, (увы?)... Приятно,

сладостно, сливаясь с чем-то конкретным, неброским, но имеющим место быть, дополняющим фон неповторимый, замирать от мысли: ты, имярек, также уникален, своеобразен и являешься штрихом наносимым в панораме изменяющейся бесконечного мига земли... И на Волге, «туточки», желание окунуться с головой в обманку оную возникает стихийно-страстно, само по себе. Об ином напрочь забываешь, растворяясь в ипостаси величественной, подпитываясь флюидами соборности, славы славянской, подпадая под перезвоны чернокрасные оков-колоколов – звуки те будто вниз по Волге плывут, ровно плоты с виселицами, на которых пугачёвцев казнённых для усмирения духа бунтарского «сплавляли». Именно здесь начинается человеке божий возвращаться к истокам собственным, он останавливается, замирает в лихорадочной гонке по замкнутому кругу, прислушивается к сердцу, открывает в нём новые залежи глубинные, стремится к заповеданным тайникам души своей... А потом, позже, будет благодарить небо за воспоминания о чуде единения с рекой такою, за то, что хотя бы один-единственный раз испытал былинное, богатырское счастье в крови!

Вот что такое Волга для истинно русского человека.

И на её берегах сделал Серёжа свой первый шаг.

За ним второй, третий... последующие – обычное детство бедное. И вместе с тем – богатое-препамятное на всю оставшуюся каторгу, не жизнь, на отпущенный до дней конца срок. За вёрст же тыщи отседа без пяти минут майор Бекетов, будущий штабс-офицер русской армии (делал, кстати, успешно-быстро военную карьеру), водил солдатиков в атаки на супостатов, пил много-часто, чего раньше себе не разрешал, в картишки резался, оказываясь больше в выигрыше, между прочим, и деревенскую Венеру нежно вспоминал...

Под притолокой небной горячо, привольно жить! Всполохи златомаковые церковей, отражения ломкие в зеркалах волглых зорь-зарниц, крестов на погостах, что одноного с холмиков печальных бегут-не сбегут... выжеги залпов ружейных-пушечных – день за ночью да воочью, день и ночь – с сердца прочь... Поспешали годы. Не было покоя. Не снился даже! Не приходил – удалялся. Вздрыбило население – руссы иже с ними! – и не мужичьё сиволапое, а такие, как Иван Зарудный, Трофим Бугров... На устои самодержавные замахнулись лучшие из лучших представителей народа излупцованного, революцию им подавай! Не абы какую революцию, а самую что ни есть справедливую: выстраданную. Светлое грядущее за прошлый гиблый кошмар! А ведь верно: отчего одним позволительно холить себя и помыкать другими, большинством, и отчего большинству оному невозможно по-человечески жить-быть? Где же тут мораль православная, заповеди Божии? Выходит, не христианская, но христопродажная налицо! И всё – баста. Да здравствует «победоносная коммунистическая революция»! Да здравствует Ленин!!!

Лозунги? Иллюзии? Химеры?!

Конечно, спустя столько лет втоптать в грязь векожизненную деяния большевиков, их идеалы, слёзы побед и утрат, и ошибок смелых, трудных и... большого труда не составит, ежели креста на тебе, как говорится, нет, последнюю совесть потерял. Переиначить, с ног на голову перевернуть, охаять, высмеять, нацарапать, что было плохого и после размазать – нате, мол, вам, глядите, потомки дорогие, что отцы и деды ваши натворили – это пареной репы проще, всё равно что пальчики в кукиш сложить! А что, собственно, натворили? Да-да, что? Когда народ, народище целый, многоликий, двуличный, столетиями мордовали, на цепи держали, насиловали помещики-капиталисты, купцы, попы, чинуши, прочие «господа-с»!!! ЧТО? И тогда, в грозную пору, на переломе историческом, поистине большинство как раз и знало: верно, единственно правильно поступает, ибо терпеть унижения, оскорбления, пытки, хуже – обездоленность и выживание нищенское, терпеть власть имущих *нельзя*. Национальное достоинство, русский дух восстают!.. Иной участи, другой, светлой! судьбы добиваться должно. И не прописные истины это, не хрестоматийные понятия. А если кому не по нраву слова такие, что ж, –

правда больно глаза колет, факт! Ответно и во сто крат острее, острее острого разит наповал мразь многомастную, притёрлась что... На то и правда она.

...Тогда, на рубеже социальных эпох, люди прозревали, проникались необходимостью в корне изменить существующее положение дел. Прозревали в городе – на заводах и фабриках, прозревали в деревнях – на нивах несжатых-некрасовских... прозревали и на фронте, на передовой, приговорённые к смерти в окопах роковых. Массами народными овладело одно желание: сбросить ненавистных поработителей ярмо и свободно, гордо, высоко подняв голову, шагнуть за птахой синей... Кто скажет, что не так оно было?!

На одном из участков русско-германского, длинно проходящего по горам-долам, а больше – по судьбам живым и душам мечущимся, братались солдаты двух противоборствующих сторон. В зеленеющем глухо распадке происходило...

– Косьма, Михай, Ваньча! Айды-но седа! Вишь, ихние то ж белый флаг выкинули! Вестимо, кутерьма ся им во как набрыдла. Пора и нам херить ентое дело!

Зыркнул на офицера, намалёванного словно:

– Чевой-т, вашбродь, приуныл? Кончилось твоё время! – и, юркий, невысокий, поштиблетил как в сторону неприятельской траншеи, метрах в трёхстах с гаком в уютной ложбинке прорезавшейся недавно: там, притороченное к поставленному на попа пулемёту WWIMaxim, пузато развевалось белое шмотьё. Покандыбачил, снимая на ходу выдавшую виды линиящую гимнастёрку отбросив демонстративно в кусты собственное оружие, засучив по локоть рукава нательника потного и выставив напоказ оглобли: вот, мол, глядите, черти, безоружен я, с миром иду!..

– Апогодь, слышь, Буян! Намеднич одного свои ж и хлопнули. Попервой с хвицерами разобратся б...

Между тем, пока тот, низкий, длиннорукий, прозванный Буяном за ртутную неугомонность-живость, пёхал склоном пологим вниз, не забывая однако петлять да припадать к земле грязной, осклизлой, у фрицев также брожение зачалось: несколько фигурок отделились от передней линии и большими неуклюжими горошинами, к которым словно приделаны были ножки, увеличиваясь, вырастая в силуэты неузнаваемые-различаемые, покатались нелепо навстречу... Приближались и крики, заполошные, гортанные... (Пройдёт время, высветится и эта страница истории. Братались не только англичане с германцами под Рождество, но и наши русские солдатики brave с теми же немцами и происходило это в 1915 и позднее, во время описываемых здесь событий – вплоть до завершения издевательского, дикого до безумия взаимного смертоубийства посланных на заклятие рабов с всевозможными нашивками и погонами на гимнастёрках).

– Рус! Рус! Иван! Не стреляйт! Комрад – друг, фройнд-шафт... ка-ра-шо!! Мир! Мир!..

– Х-хы! В-во Ганс чешет! – обернулся к столпившимся русским солдатам, которые, кстати сказать, хитро обложили офицера лубяного, приунывшего, дабы в озлобленности и лжепатриотизме тот не пальнул в Буяна, некто долговязый, белобрысый... потом, сплюнув радостно, хмылко, но с озабоченностью, – кабы чесалку не потерял!

– Наш Буян не лыком шит! Прёт себе... – отозвался басок из толпы.

Что ж, верно: пёр напропалую и в неудержимости залихватской сквозило счастливое, детское даже нетерпение – оно прорвалось наружу в смачном матерке сложной, видать, чисто буяновской закваски:

– Растудыть твою Голгофу, христабогадурумать!! Да! Да! Найн война, найн!!! Мир!! Мир!! Иду-у-у!!!

Показал опять руки, для чего остановился, повертел-по-крутил кистями волосатыми на манер клоунов перед публикой: чисто, мол, гранаты никакой не ташу и за пазухой зла-умысла нетути. Опять выкрикивать стал:

– Едрёна покровка! Сучка-тучка! Эх, исусики!!

Немец, опередивший товарищей своих, споткнулся обо что-то, чуть не свалился под ржач обоюдный, но равновесие удержал, рванулся, обошёл-таки сослуживцев, тех, кто успел ему показать спину, и, растопырив объятия, через секунду-другую первым оказался перед Буяном... но застыл, не зная, что дальше-то делать. Буян, не будь плох, шуткуя, двинул несильно фрица по плечу, залопотал жёстко, ломано, нечленораздельно, вроде «собирались грибы на войну итить!..» При этом пару раз снова хлопнул «нема» по чему попало... А ещё через несколько минут десятки солдат с обеих сторон уже стеснились в низинке хлюпкой: весна, шум-гам, говор твердоязычный, грубоватый – и родимый, посконный с загогулиной, с матерщинкой и с чувством-с, чувствием особенным – всё тут смешалось, как в доме у Облонских!

– Братуги, скока ж можно, разъелды ты в хрящ, терпеть? Домой! Домой! Мировую рабочую революцию бузить! А боровов и наших, и ваших – нынче же, щас же забить! Поизмывалися в доску, но будя катам! Будя!!

...Сцену эту лицезрел со стороны помимо упомянутой выше мелкой сошки и майор Бекетов. Настолько быстротечно, сумбурно всё вышло, что он опешил даже, чего, правды ради сказать, за ним досель не наблюдалось. Замешательство его, однако, перешло вскоре в активность наибурнейшую: выхватил наган, в толчею живую разрядил и лихорадочно, и сознательно вполне, а вовсе не импульсивно, целясь именно в инициаторов, зачинателей беспорядка – в Буяна!

– Х-хадина! Ну ж и х-хадина яка! Хлопци, зараз я з нёго бишбармак робыты буду!

Со словами этими к Бекетову стоеросовый, косая сажень в плечах, детина шаганула, потирая «руки о брюки» и плюя беспрерывно на ладонищи будто из каменюки выдолбленные.

– Стоять, сволочь!

Щёлкнул разряженно-пусто наган, один на один с гневом праведным оказался Павел Георгиевич. Grimаса ненависти, злобы вместо лица... в глазах – копыта огненные: наотмашь палом разят... сверк! Сверк! Не подходи, быдль мужичишская! Пламена яри клокочущей окатят-ожгут враз. Впрямь – гидра...

Дылда одначе спокойненько-упрямо на Бекетова надвигался и, казалось, упивался даже лютостью последнего, сжимая и разжимая огромные пальцы, словно разогревая их... шаловливо, весь в предвкушении того, как сотворит крошево в отместку – тятянька покойный – киргиз, мать с Малороссии... Что ему? Тем временем Бекетова ещё несколько офицериков, таких же нафабрено-бледных от ярости и грустных от бессилия, окружили – плечом к плечу встали... белая кость в горле!

– Вукол! Отставить!!! – властный, бич бичом, хлестанул тишину расступившуюся приказ.

– Чого???

– Мы не убийцы. Мразь эту честь по чести судить будем за убийство товарища нашего Буяна – с головы убор долой... и скорбно, грозно:

– Именем революционного народа России, пролетарским судом судить будем!!

– ЧОГО-О-О?? Да ты, Пэтрэ, нияк з глузду зыхав!!

– Как член действующего подпольного большевистского комитета – действующего, слышите все меня?! – приказываю: стой. Ни шагу больше.

Из сгрудившихся, подошедших сюда, к застреленному Буяну, солдат, в том числе и германских, вышел, обозначив *себя*, смугловатый, среднего роста боец, перед которым почтиительно расступились присутствующие. То и был Пётр Семеняка, сам.

– Взять их. – На Бекетова иже с ним указал. Голос, жесты свидетельствовали о недюжинной воле, привычке и умении повелевать людьми в самых исключительных обстоятельствах.

– Р-руки, рруки!! – Лицо майора покрылось зеленью, на маску брезгливого отвращения походить личище стало. Отчаянно сопротивляясь, хватку, тиски железные вчерашних рабочих и крестьян, коих царский режим «под ружжо» поставили, одолеть, перемочь, понятное дело,

ни он, ни однопогонники его не в силах были. Ужом извивался Бекетов, слюной-хрипом из порток аж лез...

– Рруки немытые... уберрите, прочь, пррочь, шваль! Терребень!!!

– Ничё, ничё, вашродь! Потерпите ужо! Так-так-так-с... И вы, господа хорошие, потерпите! Не долго осталось!

Между тем и Вукол к группке этой, что схватила-обе-зоружила Бекетова, других, чином по-младше, унтериков, враскачку-враскорячку вплотную просунулся – булыга булыгой, тень на плетень, не говори что нёповороть, увалень, а дело-т своё туго помнит-знает. И как ни в чём не бывало:

– Ну-ксь, хлопци, гэть звидси! Я його трохы помаю!

– Вукол! Отставить!

– Ты, Пэтрусь, у своему комитэти командуй. Нэ забороняй но!!

– Ещэ шаг, Вукол, под арест пойдёшь.

– Хто пидэ? Я?! А цэе нэ бачыв?

Лениво-решительно шаг сделал, из кулачища кукиш слепил.

– Ребята, держите его. Нам без дисциплины никак нельзя. Без организованности и порядка во всём.

Ни тени смущения в голосе. Действительно прирождённым, знающим командиром был Пётр Семеняка. Солдаты обступили полукружьем Вукола, легко, играючи завалили медведя. Навзничь. Тот распластанно-расслабленно лыбился вовсю. Потом зареготал: «Ой, нэ могу! Щекотно як!»

Вскочил на ноги, будто и не «трымалы» его несколько пар натруженных рук – рук бывших рабочих и крестьян, повёл плечиком нехотя и вмиг обок себя разбросал своих же, «товарышив», лапнёй в Бекетова вклешился – одной левой!

– Зараз помрэш, бисова дитына.

Просто, тихо сказал. Кто-то из немчуры прошпребал подобострастно, уважительно: «Гут, гут, Иван!»...

Семеняка ошпаренно метнулся к Вуколу, за шкирку робную схватил-дотянулся:

– Одумайся, мать твою, Вукол! Нельзя нам его вот так – с плеча – в адово! Ну, понимаешь, разумеешь? Мы показательный суд организуем, по первое число заплатит, раз никто его до сих пор в спину не того... Потому брось ваньку валять! Какой такой пример революционной дисциплины подаёшь? Ты же не мне, Семеняке, сопротивляешься, а всей будущей нашей пролетарской власти, которая обязательно должна быть повсеместно справедливой. Уяснил?

– Видстань, ну, жэ, Пэтрэ! Дай мэни, будь ласка, бишбармак з цёго фрукта зробыты. Стыльки зачекав! Я тэбэ нэ по киргизски прошу. Макулдашышты¹? Жакши²? У спину стрэлаты – фуй! Нэ по мэнэ цэ! Да й на хрэна йому твий суд?

– Ты так, так, Вукол? Я последний раз к тебе вполне официально обращаюсь: не твори вакханалию, самосуд. Хватит нам анархических настроений! Отпусти его немедленно.

– Та ни в якому рази!

– Ну, тогда...

Внезапно над ложбинкой, где братались вчерашние враги и где сыр-бор этот разгорался вокруг фигуры Бекетова, с рёвом-треском низко очень пролетел, крылом качнув, аэроплан, можно было и пилота разглядеть и второго, сидящего позади и размахивающего руками... Аэроплан заглушил последние слова Семеняки, показалось даже, нет ли – обдал тугой волной чада выхлопного... Понемногу затихать стало: нарушитель спокойствия относительного скрылся за холмиком на горизонте – дальше, вдоль линии фронта, тархатеть продолжил...

¹ Макулдашышты – договорились

² Жакши – хорошо

Здесь же, пёстро кружась, гоняясь друг за дружкой, то серебристо вспыхивая и мерца в лучах дневных, то чуть мутнея изнанкой белёсой, зароились тысячи листовок; ветер подхватил их, встрепенул, как след – походить начали на беспорядочную огромную стаю... опускались неровно, хаотично и, однако, будто целясь в руки, ловящие их... И вот уже Семеняка ловко, на лету поймал один из небольших прямоугольничков бумажных с напечатанным на нём большими буквами текстом и громко читать стал, не забывая при том поглядывать на замороженного происшествием новым Вукола:

– «Товарищи солдаты! Петроградский совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов призывает вас немедленно прекратить военные действия! Начинайте мирные переговоры с врагом на предмет полного и обоюдного разоружения и неподчинения офицерам. Арестовывайте наиболее ретивых командиров-господ, передавайте их народному революционному суду. Оружие вам ещё пригодится для будущих кровопролитных битв за свою свободу и независимость от ненавистных эксплуататоров и поработителей всех рангов и мастей. Нынешняя война только на руку министрам-капиталистам, а также засевавшей в городах крупной буржуазии. Возвращайтесь домой, к жёнам, к детям, к земле, которую надо вспахать, засеять, чтобы не остаться в следующем году без хлеба, чтобы не начался повсеместный голодомор. Не верьте господам-офицерам! В подавляющем большинстве своём, они – прихвостни капитала! Долой войну! Долой царское правительство! Да здравствует единственно справедливая социалистическая революция, которая одна принесёт долгожданное избавление многострадальному российскому народу от гнёта власть предержащих, даст каждому гражданину независимо от его национального происхождения, от того, насколько он беден и образован, верует или не верует в Бога, возможность жить достойной человеческой жизнью. Такова воля партии, товарищи, а во главе партии стоит Владимир Ильич Ленин. Петроградский большевистский комитет».

Несколько вечных секунд томила оглушительная тишина – её не нарушали эмоционально, внешне солидарные с прочитанным, хотя и ни бельмеса не понявшие немецкие солдаты, которые давно уже перемешались с русскими и, раскуривая наши самокрутки, перематывая такие же портянки, как у вновь приобретённых товарищей, старались сейчас вникнуть в смысл громко, с торжественной суровостью произносимых Семенякой слов листовки. Зачитав текст, Пётр Баткович прокашлялся, затем крикнул, глядя на Вукола:

– Всем всё ясно, товарищи? Да здравствует товарищ Ленин!!! Ленину – ура!!! Ура, товарищи!!!

Конечно, фрицы мало что поняли из услышанного от Семеняки, но слово ЛЕНИН возымело и на них должное действие – заволновались, одни, на манер русских, подбрасывать вверх то ли картузы, то ли ещё что, полуформенное, потрёпанное, стали, другие аккуратно складывали вчетверо листовки разбросанные – на память, видно, а один, очень пожилой, с рыхлым, потным лицом внезапно прослезился, божиться начал по-особенному, по-своему...

– Чуешь, Пэтро? Чуешь?! А про мировую революцию нэ-мае тут? Ни?! Чи я прослухав? Протёр ручищами уши лопухообразные, выжидающе уставился на Семеняку.

– Про мировую ничего пока не говорится, опогодь так что! Зато вот про революционный народный суд над офицерами-господами чёрным по белому прописано. А подразумевается здесь также и высочайшая пролетарская дисциплина.

К ней призывает нас товарищ Владимир Ильич Ленин. ЛЕНИН!!! Понял? А ты его – кивнул на Бекетова – придушить своими оглоблями вздумал! Нетути, не дано нам с тобой такого права, чтобы сразу же, без суда и следствия, на тот свет отправлять! За беззакония свои этот субчик ответ держать будет перед всеми нами. Или тебе, Вукол, закон не писан и воля партии, наказ товарища Ленина – пустой звук? А?!

– Да-а... – от волнения-напряга спёртых Вукол неожиданно для самого себя на русскую речь перешёл – Ленин прав. – Потом по-свойски на собственный лад загудел – А то якже? Тут никуды нэ попрэш!!

Чуть разобиженно, недоумевая и вместе с тем обласканно-просветлённо в сторону отошёл, зашмыгал, в носу принялся ковырять... Бекетов нагло и спокойно, не мигая, устался перед собой. Ледяная, недобрая хмылка стонула плотно сжатые тонкие губы; глаза, выкачанные, бесцветные совершенно, струили мертвенную бледность – чужое, чуждое нечто, равнодушное и нерусское донельзя... причём, они, глаза, так и не отрывались от выбранной какой-то отметинки, точки, уходили в неё, сквозь неё. Уходил *он сам*, будто *переливался* в иной мир, оставляя в этом, в брэнном, на потеху быдлу красному только плоть.

События сии, годы спустя, вспоминал он, уезжая из России ненайденной (от расстрела, ибо вёл себя на суде вызывающе, без тени намёка на покаяние, удалось уйти – в жизни всякое случается, но то другой сказ...) Жену свою, Катеньку, Екатерину, бишь, Дмитриевну, уехать не уговорил: осталась в Малыкле с братишками-сестрёнками подрастающими да с Серёжей Бородиным на руках. Сказать по правде, отношение Павла Георгиевича к супруге заметно прохладнее стало и веских причин тому – из разряда психологических – искать недосуг. Фамилию ребёнку героиня наша оставила-сохранила настоящего отца, на фронте без вести загинувшего, в книгу метрическую отчество Бекетова дописала, пометила, что крещённый сынишка-то... вот, собственно, и вся недолга.

...Шли годы. Тогда, века двадцатого в начале, жили одни – надеждами и верой возвышенной, чистой, другие – в похоти, в ненависти, во дерьме богатеньком. Есть чёрное и белое, точнее – светлое и тёмное. Есть огонь и вода, жизнь и смерть! Иное – третье – это: серость, шипение, прозябание полумёртвое-полуживое, кому как. Тоже вроде бы данность, но, скажите, кто позарится на не золотую серединку эту, востребует кто? Обыватель, трус, неполноценный человек? Можно, конечно, спорить, пытаться последнее слово за собой оставить, весь блеск «ума заднего» напоказ выставляя. Однако, по большому счёту, критиканство, ёрничанье, анафемы и епитимии, попами накладываемые за инакомыслие, слушание, семигрешие – ерунда на постном масле. Даже истины относительные в расчёт не идут, поскольку относительно всё. Истины устоят под напором поползновений заказных ли, в силу мотивов инерционных, прочих каких... И гласят истины: хотя всё кругом относительно, однако суть единство и борьба гармонии и хаоса. Суть стремление к совершенству через распад и слияние, воссоединение! Живое, непрекращающееся движение по спирали, круг за кругом – к эталонам, к идеалу, к абсолюту... к свободе нового выбора по... заложенной необходимости оно, в виду самодостаточности, наконец. Середина, этакое «лезвие бритвы» – лишь условности, иллюзия, самообман и нужны они только для хрестоматийных образчиков, примеров и проч., и проч., и проч. Есть НЕЧТО и НИЧТО, как победа или поражение. Ничья, баланс – для слепцов. Кто-то в выигрыше и здесь, какой-то незримый знак витает всегда. Несомненно. Не знак – перст указующий! Конечно, сен-тенции мои чужды и далеки той молодайке российской, которая, на цепь посаженная, молочком из груди своих барских щенят породистых выкармливает... Чужды и молотобойцу, и КАМЕНЯРУ!! Но духом своим, ненавистью и любовью солидарны они со мной: есть добро и зло. И если «кормилица» разнесчастная не задушит за глотку щенка господского, то не потому, что боится наказания розгами, не оттого, что смирилась, выбрала «золотую серединку», приспособилась-присобачилась... – о, нет! Просто *вышшая* суть материнства подсказывает ей: она, потерявшая собственное дитя, даёт всё ту же ЖИЗНЬ. Она НЕ даёт ЖИЗНИ умереть. Страшный, кощунственный подвиг поневоле!

К чему раздумья такие? Ведь бедняжка-то наверняка далека от них. Ей откровенно тошно, гадко... И всё же со дна наитемнейшего, позатайного души её встают в рост немые, вековечные истины: живому жить.

...Бился ветер о ставни-двери, аж околени звенели. Хлестал-наяривал дождище, вечер скрадывал тени, порывающиеся сорваться с места, убежать от сквозных алых струек огня на западе. Стихало вдруг – и не по себе, жутковато становилось, не знаешь, деться куда. Уж лучше бы свирепствовала гроза молодая, неслись космы распушенные по беззвёздности горней, аки

дыма ключья... уж лучше бы совало головушку буйную в застень чёрно-рыжую солнышко, что яблочком дозрелым по тарелочке всё катится и катится... скатилось почти, чем так: нудно, монотонно-пусто, внепроглядь. Тревожно от застывшей суетности мирской, нашедшей странное отражение наверху, посреди булыжных туч-куч... тревожно и гулко, нестерпимо в груди! Холодочек *жуткости* однорезным ножичком достаёт. И – вяло-таки, освободилось само по себе нечто – нечто *там*... Расхлобысталось, вылило-смыло... до корней волос, до муравушки кажинной проняло землицу... чуть ли не взвозы скрипучие снесло – такого нашествия мая-мамая Екатерина Дмитриевна, сколько себя помнила, не знавала: взбеленилось-раскурочилось всё кругом и потому волнительно, радостно, чуть нойко в груди... оттого – дрожко, да с горчинкой не немножко!.. Братишки-сестрёнки – взапуски, кто куды: под ленивые одеялка... в за-доски... самый старший к коленям её приник-прижался, мол, не пужайся, вишь, рядом я, так что в обиду не дам грозе! У самого зуб на зуб от страха не попадает...

Она же – спасение во плоти – будто с иконки сошла. Лик тонко очерчен, мягок, изнутри светел, в очах – промельки мерцотные, перепляс огней, ноздри нервно напряглись, раздулись... кажется, ещё секундочка, полсекундочки – взмлет туда, в рёвы и клубы гремучие, в пекло самое светопреставления... порядок наведёт!..

Только не взлетит, не упорхнёт, хотя фигурка точёная стремглавостью налита и дышит, дышит опрометью призрачной, плавной-наплывной и как бы реющей сразу. Ни-ни – наоборот: в движении... вкопанном, в предвкушении и угадываемом, и читаемом с листа-лица, во внешности всей мнится что-то надёжное, домовитое, дающее отпор бедам и напастям, молниям и ревунам... ЧТО-ТО, беду отводящее! И не «золотая серединка» только!

Просто душа у неё самая русская – свет-мятежная, свято-нежная! Просто такая она...

– Пужливые мои! Не тронет вас гроза. Шли бы на боковую! Во-он Серенький-то наш, чай поди, второй сон доглядат! Да-аа»!..

Певуче, мило пролила из грааля души своей несколько словушек заботливых и, потеряв ладошкой левой кучери брательника, что рядышком примостился, Сёвушки, рассыпала мелодично-звонкий смех, отчего тотчас улеглись страхи детские, личики повеселели, расцвели ответно-благодарно... Ярко, каминно-карминно потрескивало в печи: хоть и май на дворе, а всё ж к утру выдувало и можно было замёрзнуть под одеяльцами байковыми – вот и топили, благо дровишек запас не иссяк в сараюшечке, а Серенькому в тепле, понятное дело, всяко уютнее, лучшее.

– Айда с нами, Кать!

– Ага, иду. Вот только помечтаю маленько...

Помечтаю!! Не мечты вовсе перепалнивали её – хотя виду не казалась. «Права ль была, что с ним не уехала? – этот вопрос костью в горле застрял – в груди. – Ведь предлагал, звал горячо... А я... Правда, после войны этой как подменили его, ну, и что? Глядишь, отмок бы, отошёл... А щас вот... Зато говаривал-то как...»

И действительно, казалось, вчера это было: Бекетов, «Павлуша», страстно, убеждённо в розовых тонах пастельных рисовал ей картины их будущей жизни эмигрантской где-нибудь в Париже, Вене, на худой случай – в Анталии жаркой... с пеной у рта доказывал немислимость дальнейшего пребывания в России, на Родине, которая, дескать, погибла, где всё вверх дном. Она же, его Катюша, была непреклонна...

– Забирай детей, любимая, что тебе в этой стране нужно? Среди грязных, невоспитанных, тёмных людей! У меня есть деньги, много денег, раньше никогда об этом не говорил, повод не предоставлялся, есть фамильные драгоценности, недаром что княжеского рода. За кордоном ты горя знать не будешь. Ни ты, ни дети! О них пораскинь!.. – осёкся.

Разговаривали шёпотом, в спальне. Он стоял перед ней, решительный, молебный, заклинал её поехать с ним, не оставлять одного, проявить благоразумие, мудрость, думать о завтрашнем дне...

– Почему, ну, почему ты считаешь, что при Советах Россия погибнет? Примут ли дети ту же Францию с её Парижем, иную по духу жизнь примут? Не проклянут ли в будущем нас за то, что мы, оба, лишили их Родины?! Чать, не к тёще на блины – невесть куда приедем! И кому мы там будем нужны, родной? А? Жить среди чужих людей, постоянно слышать незнамо чью речь и не понимать ни слова, ты же не станешь нам всё время переводить, а главное – тосковать по просторам нашим, по Волге... Что ресторанчики? Там такие же будут, как и мы – пусть и не все голодранцы, так горемыки, слышишь?! Да и голодранцы – духовные, духовные голодранцы, милый ты мой... Эмигранты! Там всё – обман, пусть и красивый, но высосанный из пальцев, всё на дешёвой водке, на плаксивых песенках под струны жалобные уж не знаю чего – шарманок ли, гитар, гармоней?! Искренность за шампанским, когда хмель развязывает язык и не знаешь, куда деть себя от тоскотищи, от нудыги, когда... Ах! Прости, но я не смогу так, не смогу! Уж лучше бы мы не встречались!!

– Напрасно так думаешь, любимая! Катенька, я всем сердцем боготворю тебя и ты не можешь не чувствовать, не знать этого, хотя, возможно, последнее время стал жёстче... Ты не захотела жить в родовом имении – я согласился, живи здесь. Ты воспротивилась тому, чтобы стать законной княжной Бекетовой, хотя отец мой, я рассказывал, поначалу и не в восторге был от нашего знакомства, от развивающихся наших отношений, я ведь писал ему, ставил его в известность... ну, да ладно, Бог ему судья! Бог тебе! судья, пусть так. Я, хотя и гордый, но ради тебя, во имя завтрашнего счастья пошёл и на это. Пошёл! Выдержал немало косых взглядов, недомолвочек по поводу и без со стороны аристократов наших, дворян, в кругу которых с рождения считаюсь своим. Понимаешь? Ради нас с тобой! Всё, всё перенёс и не такое ещё перенести смогу. Кстати, не поэтому ли изменился немного... не думала? – ладно! Зато я думал, думал, что с годами оботрётся как-то, ты попривыкнешь к моему высокородному происхождению, а что до дел чисто оформительских, казённых, так сказать, то здесь и обождать можно. Главное – ты по духу своему, по красоте невиданной – графиня, герцогиня, королева!! Послушай же, не перебивай. Мы потеряли ребёнка, Сашеньку, ты взяла чужого младенца, выкармливала его, усыновила, он стал родным для нас, для обоих, поверь! Я что-нибудь не так говорю? Я хотя бы раз возразил, попрекнул?! Ведь если мужчина любит женщину, любит по-настоящему, то он будет любить её со всеми её потрохами! С детьми её, собаками, кошками и подругами!! Окстись же, милая! Где ты найдёшь второго такого супруга?! Но сейчас всё во мне встаёт, противится твоей кроткой, ангельской натуре, в которой столько кремнёвой стойкости, столько упорства и... упрямства! Да-да, упрямства! Прошу тебя: поехали со мной! Начнём новую жизнь – там. Будешь приезжать в Россию, когда здесь всё наладится, образуется – ведь не вечно же будет длиться эта вакханалия! И если разрешат новые власти, твои так называемые Советы. Но ведь могут и не разрешить! А не разрешат, то и Бог с ним! Родина – там, где хорошо, где люди свили себе гнёздышко. Родина будет в памяти сердца, она останется. Никуда не денется. У нас будет две родины. Что, я не прав? А ведь может статься так, что большевики обосновались тут надолго! Представляешь, будут бирюками сидеть на своих местах и навязывать свои порядки! Людям и продохнуть не удастся! Зато мы с тобой будем далеко-далеко. За три девять земель... Будем жить по-людски, свободно. Независимо от всех! Словом, Катя, решайся. Ты просто рождена для счастья неземного. Ты затмишь своей красотой всех в Париже!.. Будешь воспитывать детей, младшеньких своих, изучишь новый язык, познакомишься с местными матронами... У тебя будет своё хозяйство, прислуга... Да тебе просто некогда будет тосковать по отчизне, предаваться воспоминаниям. Поверь! Жизнь возьмёт своё! И в доме нашем, для новых друзей открытом, хлебосольном, всегда будет звучать родная речь, литься детский смех... Обещаю! Жена моя, даю тебе в этом слово князя и дворянина. На библии присягну. Вот послушай... Там, на фронте, в минуты затишья редкого и полного, рано-рано утром, до меня, до слуха моего несколько раз явственно доносилось твоим голосом произнесённое, названное моё же имя – «ПАВЕЛ»! Неведомо как звучало оно, будило, звало... Я

ведь голос твой ни с чьим другим не спутаю! Знаешь, тихо-тихо, но пронзительно и взволнованно, отчётливо, ясно, в душу самую падал звук, в глубине придонной затихал струной... Я вздрагивал незаметно, невольно, изумлённо: как это ты оказалась здесь, на передовой, среди окопов, палаток? Как нашла меня, кто подсказал? Порывался вскочить, но что-то удерживало, удерживало, понимаешь? Я даже глаза не открывал... Ибо тотчас наваливалось с беспощадством угрюмым, приходило ниоткуда понимание: это мне только прислышалось, на самом деле нет тебя! Но знаешь, становилось не по себе – уж больно разборчиво и взаправду раздавалось в изголовье, да-да, в изголовье, где-то слева, внутри и вовне сразу! имя моё, сказанное с болью и нежностью тобой, твоими – этими вот самыми – губами... Делалось тревожно, вдвойне одиноко потом, но и хорошо, будто побывал дома, рядом с тобой... Что это было? Не пойму. Не знаю...

– Ангел твой хранитель, родной...

– Вот видишь, и он сберёт меня. Но я не хочу, чтобы там, за границей, в Париже ли, в Вене, я ещё не решил окончательно, куда именно мы поедем, он, голос твой, опять также волновал меня, одного, изгоя, покинутого тобою, детьми, заброшенного злосчастной фортуной на произвол судьбы, на долгое, медленное угасание... умирание... Не хочу! И знаешь, я до сих пор ломаю голову: отчего голос этот с левой стороны раздавался? Странно, да? Словно ты подошла к сердцу моему одной тебе заветной тропочкой, нагнулась надо мной, спящим, и очень-очень выразительно, членораздельно произнесла моё имя – не всуе, заметь, а с какой-то целью... Для чего? И после этого я уже не мог заснуть. Ворочался, в холодном поту весь, дрожал – то ли от холода, а скорее всего от возбуждения нервного. Какая-то мистика, да и только! Иногда после этого вставал, бродил – по утрам зябко, студёно бывает и вместе с тем полынно, сухо... всё сразу! И будто чего-то недостаёт. Предвкушаешь новый день, не знаешь, каким он станет, что принесёт, хм, сам же ещё во вчерашнем дне, ещё окончательно не перебрался сюда... И во рту – не то горечь, не то оскомины. Ощущение не из лучших! Словно снег прошлогодний растаял и обложил небо чем-то вязким, липким, пусть текучим, но всё равно пристающим каким-то и несмываемым, не уходящим... Одно спасение: чувство неодинокимости! Понимаешь? Потому что есть этот голос, твой, – и нет тебя. Образ один...

– Не чаю, что и сказать. Я часто о тебе думала, молилась за тебя. Люблю ведь очень! Иначе разве пошла бы за тебя! И во многом, во многом ты прав, да! И я бесконечно признательна тебе – никогда и никому не говорила таких слов. Но... уехать? Уехать из России, покинуть всё это??? Это выше моих сил. Здесь – могилы предков всех, язык родной, здесь – всё, всё, ТЫ ЭТО ПОНИМАЕШЬ???

– Но и я не могу остаться! Я ненавижу быдло мужицкое, тех, кто всю жизнь нашу, мою! мою судьбу поковеркал, кто в пропасть загнал Россию!

Другим, страшным и чужим предстал вдруг он ей: глаза налиты кровью – кровавой смесью из ненависти лютой, гордыни алчущей и жажды убивать, убивать, убивать! в иступлении мстительном, не щадящем... черты лица, и прежде строгие, *чеканные*, обострились до неузнаваемости, до болезненного, сухоточного выражения, властная печать – клеймо рода! – расплзлась, разлезлась по губам, как будто слюна обильная, либо пена от бешенства прорвавшегося. Хищное, звериное что-то отшатнуло от него Екатерину; пытаюсь взять себя в руки, она взмолилась:

– Не говори так, родной! Не смей! – Ещё надеялась высмотреть в нём былое очарование, духовность, шарм – то есть, качества, кои примагнитили буквально душу молодой женщины к нему, офицеру дворянского сословия, послужили главной причиной для их последующих встреч, свиданий романтических, красивых, когда сердечком целомудренным постигала чужие-не чужие потёмки и отдавала отчёт: если они соединят свои судьбы, многие отвернутся от неё, от него, проклянут обоих, да, да, но ведь он – не как все, он хороший, несчастный, она до зарезу ему нужна, нужна ему и значит, они должны быть вместе!.. Былое очарова-

ние!.. Былая небыль! Екатерина, не мигая, уставилась на мужа – испуг, отчаянье, надежда тающая... – что ещё, выразимое и невыразимое словами, сплелось во взоре божественном и обжигающем? – Не говори так... Не надо, прошу, умоляю тебя! Мне жутко. – Зашептала быстро-быстро, почти скороговоркой – я ведь женщина, всего только женщина со своими тайнами, слабостями, неумением... Я не искала, но я ждала, верно, долго ждала... Но что такого они, мужики наши, бабы, народ наш! сделали тебе? Что?! Просто людям надоело жить по-скотски, под пятой! Не мучь понапрасну себя... и меня... Я полюбила тебя, не хочу терять. Но ведь я – частица моего народа. Такое же *быдло*, такая же *баба*...

– Что ты такое говоришь! Одумайся! Не нужно, Катька! Ка-ать!!!

– Да?

– Одумайся... – схватил её за голову, привлёк отчаянно, жарко к себе, зацеловывать стал, *выцеловывать* принялся *согласие* её!! – Всё же кругом рушится, на корню рушится, уже полетело в тартарары! Эти большевики, этот бунт в Питере, этот их вождь, Ульянов-Ленин, а ведь из благородных, притом, умнейшая голова! Господи-иисусе! А немчура – она же тараканьим галопом заняла всю Малороссию... Брестский мир, видите ли! Эти бюргеры, как турки или татары, ринутся дальше! И ведь немцы эти братаются с русскими, с нашими единокровниками! Грядёт кровосмешение! Ты понимаешь, о чём я? Все обрусятся и онеметчатся!! Православие загинет!! Потому здесь просто нельзя оставаться! В пламени всемирной революции мы сгорим заживо – особенно здесь. В первую очередь здесь!! Партия! Большевики! Какие-то комитеты, декреты! А народу нравится, этому верят, верят!! Люди помирают за новую, большевистскую, коммунистическую Россию с именем этого самого их лидера, вождя – Ленина! С верой детской в эту самую Советскую власть! Лучшие умы давно уже за границей! Россия погибнет, она почти погибла без преданнейших сынов и дочерей своих! Как же мне не мучиться-то, Катенька моя! Научи! Да ведь они меня расстрелять хотели за верность присяге! И я должен быть спокоен! Я едва из-под расстрела ушёл, просто тебе не рассказывал, чтобы душу твою прекрасную лишней раз не тревожить. А надо было бы! Ну, да ещё успеется! Господи!! Да вразуми же ты эту женщину!

– Тише, тише... Разбудишь всех!

Ладошкой прикрыла его рот, но губы, горячие, влажные, жадные, перешли на поцелуи, принялись лихорадочно зацеловывать мягкую кожицу кисти, тыльную сторону ладони, пальцы, каждый в отдельности и все разом... – зацеловывать горько, прощально... прощально уже!

– Целуй меня, люби, шепчи слова окаянные, родной! Вернись только, прежним стань, каким знала тебя всегда и за какого молилась истово Богу нашему! Не пугай меня больше, не мучай так...

– Какая ты...

Зарылся лицом в её волосы – власы, мятлые, настоянные словно на весне хмельной, *накичаянно* обцеловывать-обчмокивать всю продолжил – и янтарную белизну щёк, и – тело, молодое, упругое, податливое, счастливое, почти открытое и доступное под ночнушкой тонкой, принадлежащее каждому сантиметром только ему, пока ещё... пока ещё... ему... Он пропал, он забылся, онемел...

– Ты... прощаешься со мной?

Четыре жемчужинки блеснули в раскрытых створках уст нежнейших, из раковины-души наружу в несусветь горемычную выпали... в тишину, стусившуюся внезапно, опустились мудро, четыре перла красноречивых...

– Не хочу!!! Ты – жизнь и смерть моя! Я ведь ничего о себе не рассказывал! О своём прошлом, о детстве, об одиночестве... о постоянном, вечном одиночестве! Не мог, стеснялся... Боялся, что выцедишь до дна душу мою, что стану не интересен, что разочаруешься во мне, таком, шарахнешься от такого... Господи, что же я наделал!! Боялся, что не смогу в глаза твои родименькие глядеть, если откроюсь до конца...

Внимательно, покойно улыбалась она – хотелось взять его на ручки, отнести в кроватку, где лежит Серёжа, уложить рядышком... – какая к лешему заграница! Спи, и пусть приснится тебе твой Париж, твоя Вена и эта, как её... Анталия... На самом дне глаз Катиных тихо мерцали два померанцевых лотоса в омуте влажном. Что могла сказать? Чем утешить? Пообещать что?

– ...ничего больше не хочу и не могу понимать. Здесь я теперь сам не свой. Не переломлю себя, ненавижу голытьбу большевистскую, боюсь и ненавижу... А что до того, что сам себя теряю...

Он говорил, говорил, жестикулировал, обнимал её, чуть не плакал, но потом сразу же злился – на неустроенность свою, на весь белый свет... и не мог, хоть ты убей, не мог бесповоротно утонуть-раствориться в душе её, остаться там и не возвращаться, дабы не плыть безвольно по волнам зыбучим, тяжёлым, стальным к чужому берегу; он и взрыдывать потом начал, как-то неуклюже, «накручивая» себя, а после принимал деланно-отрешённый вид волевого, решительного, прошедшего разве что не медные трубы удальца, и подшучивал над её, Катеньки, страхами-домыслами, а она, страдальца, измочаленная всем этим драматизмом, прекрасно видела и понимала, что потеряла его, что он ей не принадлежит и, наверно, не принадлежал никогда, и что в эти самые мгновения удаляются друг от друга непоправимо-навсегда они – княжеского роду сынок, белый офицер, и простая крестьянка!

– ...ничего больше не хочу и не могу понимать. Я теперь сам не свой – повторял заведённо он; ему нужны были эти, одни и те же, слова, фразы, чтобы не делать пауз, которые она могла бы заполнить отрицанием навязчивой идеи его эмигрировать в Европу «высокородную»... чтобы найти новые убедительные доводы, могущие поколебать жёнушку, склонить в пользу радикально принятого им решения, в коем находил единственно возможный для обоих выход... – Вот говорила как-то, мол, стерпится – слюбится! Не стерпится, не слюбится! Я же действительно не смогу жить среди этих людей! Ты – исключение. Но ты – неповторима!! Таких днём с огнём не сыскать!! Я не хочу расставаться с тобой! Я просто не смогу без тебя...

Иногда он прозревал: помилуйте, что это творится, что? Что?! Что, наконец, происходит?? Я же ведь действительно, *действительно* и дня без них не проживу – без этой женщины и её братишек-сестрёнок, без тихо посапывающего малыша, такого беспомощного и безмятежного, нуждающегося в опоре, в защите мужской сегодня, сейчас! Я погибну, погибну в одночасье, сразу... Но потом его снова несло, и он обещал вернуться, как только обустроится на новом месте, чтобы забрать, увезти их всех... обещал писать часто-часто, если не каждый день, то раз в два-три дня, на худой конец – раз в неделю, непременно... клялся вечно помнить деревеньку Малыклу, где однажды повстречал судьбу-Катюшу и где провёл столько незабываемых часов, минут... Он напоминал вообще-то самого обычного человека, собирающегося в длительную командировку – напутствовал остающуюся дома половиночку свою, давал советы, о чём-то договаривался и при этом уходил, уходил, уходил... От прямого взгляда уходил в дебри слов, растерянно-невыпадом им роняемых, от самих этих слов уходил, хватая её, Катю, прижимал всю к груди, вжимался сам в неё, совсем как маленький, чтобы забыться, не маяться чтобы от несусветной лжи собственной – и тут же опять уходил, уходил от прикосновений этих бурных, робких, страстных... и так по кругу, по немислимому замкнутому кругу... Боже!..

Уходил, уходил.

Уходил.

Вослед неизбежному, за временем, набегающим безостановочно и бесповоротно, навстречу завтрашней участи, доле... Уходил от того, от чего уйти было нельзя – от судьбы.

Куда?

Зачем?

...«Помечтаю!» Вот какие «мечты» заставили Екатерину Дмитриевну долго, не отрываясь, смотреть в окошко, в ночную майскую грозу вместо тихой звёздности и слушать барабанные раскаты грома, что оглоушили земное королевство людей... Казалось самой: взмоет, поле-

тит вдогонку за поездом, увозившем в зарубежье кудатошнее супруга её, ангелом-хранителем всевидящим окликнет... – увы, увы, не сорвётся с места насиженного, не упорхнёт... Будет стыть, мысленно стирая руки, видеть и не видеть молнии зубастые, слышать и не слышать рокоты голкие, словно чудовищные звяки? звоны? срываемые дланью роковую с гигантских небесных колоколов...

И примерно в эти же самые минуточки, сидя в отдельном, уютном купе, тускло глядя в расшторенное окно, в котором уносились-уплывали чужедали родные – а может, сторонние... чужинные, да-да, чужинные, ибо за пасторальностью их – полевинами, пожнями, промежками, вставали хмурые, оскаленные образы взбунтовавшихся полудиких мужланов, кухарок, прочей гольтыбы... глядя тускло и пристально, однако не видя *там* ничегошеньки кроме сырого мрака, помимо ошмётков, теней, контуров и каких-то призрачных, угадываемых едва нагромождений... он с потрясающей, доселе в нём спавшей чёткостью кадр ЗА кадром, день ЗА днём пережил былое: детство, когда барчуком ни горя, ни удержу в желаниях своих не знал, но чувствовал одинокость, ущемлённость странную, смутную; годы юношеские, полные увлечений, приключений, но без друзей настоящих; военную пору – пору возмужания, становления духовного с налётом романтики, иной раз даже... (о! но ведь было, было сие – несколько сеансов спиритизма в петербургском салоне мадам... ах, запомятовал имя... сюда приходил сам Дэвид Юм, шотландский кудесник, медиум) вот-вот, с налётом даже мистики – мистики и бестолковщины немалой, что там ни говори... Прошлое навалилось на плечи, потом переползло ниже – на грудь, скользнуло к сердцу, ближе, вплотную подступило ни с того ни с сего! Он вышел в коридорчик, отыскал взглядом укромный уголок, подальше от влюблённой парочки, что отправилась, судя по всему, в свадебное путешествие куда-нибудь в Тоскану, примостился на откидном сиденьице... Воркование молодожёнов; их волнующие позы, в месте другом, более многолюдном, могущие показаться довольно нескромными, откровенными; их взгляды, косо бросаемые на него, появившегося здесь так некстати, и вместе с тем радостно-лучезарные – не взгляды, а взоры милующихся; иное что... – мысли Бекетова по-прежнему заняты были совершенно другим, третьим ли, пятым-десятым... Воспоминаниями! Только воспоминаниями! Почему? – не знал. Можно было, конечно, найти офицеров, также навсегда покидающих Россию, разговориться с ними, утопить в балагане дорожном, безудержном память нерастраченную... Только что нового могли те сообщить?

Присутствие постороннего человека вскоре окончательно смутило юных счастливиц – ушли в купе своё, оставив Павла Георгиевича одиноко сидящим в узеньком коридорчике. Под напором теснивших его чувств он тоже поднялся, нашёл, где и положено, проводника, приказал чаю, направился к себе. Обессиленно рухнул буквально на непривычно узкий лежак с тонким зеленоватым матрасиком... Сейчас, в нарастающем оцепенении одиночества, дожидаясь заказанного, расстегнул нервически несколько верхних пуговиц мундира... Ему не хватало воздуха.

Заметно стемнело. Вдоль линии горизонта стремглав летела параллельно поезду густая, рваная и единоецельная сразу тень. В звенящей небовыси, высоченной и куполообразной, ледяще, скупо проискрились первые звёзды. Всё уже и уже становилась тёмно-багровая полоска приокрепная и безысходнее, страшнее наливался мраком мир. Воображение ли, пресловутое шестое чувство подсказали Павлу Георгиевичу, что в краях покинутых бушует в минуты эти самые нешуточная гроза и блики, сполохи её доносятся сюда; надо хорошо захотеть и я увижу их, обязательно увижу... Ещё же почудилось Бекетову: в купе, напротив и рядом, Катюша с ребёнком, другие дети... (подсознательно он заказал целое купе!), гоняют чай с пирожными сладкими, напечёнными в дорогу, смеются, младшенькие залезают на верхнюю полку, предназначенную для ручной клади, оттуда по-обезьяньи свешиваются... Катюша в ужасе, заламывает руки... хватает непослушников, стаскивает по одному вниз... следуют новые взрывы смеха... а колёса стучат, стучат – сердечкам под стать... сердечкам всех, нахо-

дящихся в купе этом... или нет, под стать только его, Бекетова, сердцу... и вовсе не сердцу... уж больно какой-то звук... деревянный... не поймёшь!

– Разрешите-с?!

– Что?

– Ваш чай, заказывали-с?

Мельком взглянув на проводника, Павел Георгиевич кивком разрешил тому поставить на столик поднос с чашечкой чаю, вторым таким же кивком поблагодарил и отпустил *человека*. «Скорее бы ты ушёл».

Опять один в крохотном пространстве, куда сам себя загнал, один в пристанище холодном сбежавшей души, откуда она сейчас рвётся-не вырвется под странное постукивание *путейное*... Один на один с несуществующими призраками, образами, формами... с...

– Павел!!!

Вздрыгнул. Сердце, ау! Толчками в груди напомнило: в тебе, в тебе я, вотушки, слышишь? Пока ещё стучу, креплюсь, но, чую, недолго осталось... нам...

Потинки проступили, замерли, не в силах стечь... Горячо, душно – и одиноко. За окном – ночь.

«Ангел-хранитель, опять?»

Хотелось движений – протянуть руку за чаем, остывающим и уже наверняка остывшим, плотненько... взбодриться...

Не мог. Улыбка запоздалого прозрения обозначилась на губах – осенний лепесточек души... Всё кругом стало до конца ясно и понятно. Жизнь – это ведь так просто, так очевидно. Ты ходишь, разговариваешь, смеёшься... бросаешь снежки, кормишь голубей с ладони, подаёшь руку даме, строго «сурьёзничаешь» с пацанвой... куда проще?

И – окунаешься в мамины глаза, в её руки тёплые, в звуки голоса незабытого... И – голова твоя покоится на коленях возлюбленной, мягких, тёплых, приемных, а подол платья или юбки прохладен, словно чистая наволочка...

И —...

...и невыносимая волна приятности, лёгкости обдала Павла Георгиевича, разлилась тут же, в купе, превратила окружающее в бесконечное лебединое озеро, сплошь усиянное небесно-голубыми васильками и кувшинками, кувшинками, кувшинками...

...и важно, печально скользит к нему пава белоснежная, раскрывает крылья – а это и не крылья, а тонко-обледеневшие да в инее перламутровом веточки ивушкины, замёрзли слёзки-то, вот и выглядит так – *стеклянно*, прозрачно, светло...

...и ему уютно, долготечно под пушистостью вербной... «Умеют ли снежные павлины плавать?»

...и кто-то, а может, что-то обнимает его, ласково утешает, заглядывает в самые зрачки Павла Георгиевича, в которых изумление вечное сменяется знанием сакральным, выстраданным... О, теперь он постиг всё, абсолютно всё. Всё...

...но только никому и никогда не поведает про то.

...Над далёкой же деревенькой волжской, по-над катюшиной избой, зажётся в пастели лиловой, возникшей после грозовой страсти зевсовой, крохотный леденец, померцал было, да стаял-изник, будто пёс гончий языком слизнул. Только и осталось от леденца того приторного – нагретое чуточку место посреди высокого холода и глухой пустоты. И только она, Катюша, поняла сокровенный знак сей, а уразумев, устремила лик свой к иконочке в красном углу, туда шагнула, не чуя ноженек, последним усилием волевым заставила себя на колени не рухнуть, дабы, значит, не перепугались дети, ещё от «буря мглою небо кроет...» не отошедшие, чтобы не упасть в прострации, а степенно, медленно опуститься на пол, вкладывая всю боль вдовства, на неё обрушившегося, свалившегося в миг исчезновения звёздочки Павлушиной, в молитвенные слова; крестилась истово, отчаянно-одержимо, облегчения пыталась у Боженки

– но становилось горше, горше... Боялась: в истерику впадёт, сойдёт с ума – где слёзы? где?! Хотя бы одна проступила-пролилась!..

Серёжа Бородин тихо, умиротворённо посапывал в зыбке, улыбаясь неведомо чему. Стихии, улегшиеся не так давно, снова собирались на шабаш свой. Когда опять разразятся грозой огневою?

...Подрастал Серенький, вытягивались братики-сестрички Екатерины Дмитриевны, крепче в кости становились, бойчее-звонче в играх и более ответственными, когда касалось общих дел, решаемых на семейных советах традиционных, а устраивала их мадонна наша регулярно, чтобы с малолетства домочадцам хозяйственную жилку, рачительность привить, уму-разуму научить каждого. Сказать следует: обстановка, внутренний климат были в семье ровные, доброжелательные. Обязанности бытовые распределила Катерина грамотно, справедливо: каждый вносил вклад в благое – сбережение и приращение крупными домашнего очага. Словом, ничто не предвещало беды. Деньги покойного (сердце не обманешь!) супруга, драгоценности, которые он ей оставил, честно сдала государству, кому следовало, потому жили скромнее некуда, зато со спокойной совестью, ну, и не впроголодь: домишечко, слава Богу, новый, Павлом Георгиевичем загодя для «многодетства» поставленный, плюс подворье с огородишком, живностью некоторой... – худо-бедно, а продержаться можно было. Другим не в тягость, сами соседям пару раз помогли...

А люди вокруг – по большей части простые, от сохи. Работяги, короче. Никифор и Пульхерия Малковы с доцей Акулинкой; Тихон да Софья Демидовы – не дал Бог дитяти – тошно, пусто в хате; Борис и Агата Роговые – у этих, наоборот, приплоду на три семейства набегит, и как выкручиваются, чем кормятся? Впрочем, Волга выручала – рыбы разной завалились было: лови – не хочу! Леса здешние, зверем-птицей богатые, ягодами-травами целебными-пита-тельными, опять же подспорьем были. Та же крапива – чем не фрукт! Борщ не слабец из неё по весне получался, зелёного-щавельного не хуже!

Ничто не предвещало беды... Но – грянула... Нагрянула! И – закружило-понесло-разбросало людей по свету-не свету, до того не мил стал. Она как.

Раскулачили... Стране, люду работному нужно было кушать, а еды не хватало. На голодный желудок, известное дело, обороноспособность не поднимешь, социализм от посягательств снаружи не защитишь! У Екатерины Дмитриевны отняли практически всё – что можно и нельзя было, а саму – в тьмутаракань, на выселки, за становой хребет российский, за Урал-батюшку, да со всем семейством в коротеньких штанишках... Ещё в суровом 1918-м велено было начать широкую конфискацию имущества у зажиточных слоёв крестьянского населения. А в России не особенно любят церемониться энтузиасты и ревностные исполнители указаний свыше, тем более – из самого Кремля. Под одну гребёнку мели, метут... Словом, перестаралась не родная Советская власть – перестарались отдельные представители чиновничье-бюрократической «епархии»(!), лишённые и совести, и чувства меры, огульно подходящие к решению судьбоносных для каждого гражданина вопросов. Сигнал ли завистников досужих на вдовушку скромную поступил: мол, замужем за богатеем-дворянином эмигрировавшим находилась, роскошь заимела-нажила (припрятанную...), потому сейчас тише воды и ниже травы (что муж помер, почитай, на границе самой, так ведь смерти не прикажешь опогодить, не помер бы в поезде, загнулся бы в своём Париже, крыса белогвардейская!), а если не сигнал, то так и есть – подошли к решению участи её без всякого разбору, сравнили бедолашную с настоящими хапугами и выжигами. Эка невидаль – ошибочка! Тут бабка надвое сказала ещё: эта Бекетова-

Азадовская, по всему видать, *того поля ягодка* \ Ничё, девонька, вот раскулачим, сразу у нас запоёшь! Зато другие вздохнут повольготнее – глядишь, на пару паек богаче станут в голодный год!

Страшным, серым с изволоком утром потащила пегая саврасушка телегу со всеми ними, Азадовскими-Бородиными, которому, Серёже, уточнить-сказать, шестой годик пошёл, с пожит-

ками их скудными в незнамо куда. След в след – другие возки с «кулаками» и «кулачихами» и при конвое небольшом, впрямь по этапу. Конечно, в основной массе здесь действительно были пройдохи, сумевшие обогатиться в своё время и после надёжно припрятать от родной державы излишки немалые, но, чего греха таить, невинные также пострадали. Ор, плач, гомон... – а толку? Бросался из стороны в сторону ветер, словно пёс на привязи, подвывал сердцам кулацким с кулачок, заходящимся, одни – во злобе-ненависти, иные – в безнадёге отчаянной, и мутно в неогляди стыллой тлела Волга – рассвет занимался недобрый, чужой расцвет и ложился грудью кровавой на речную излучку, не иначе как топиться вздумал с горя безутешного. Глаза б не смотрели! Вот уж поистине рад не будешь, допечёт ежели.

– Прощевайте, люди добрыи-и!

– Молитесь за нас, не поминайте лихом так что...

– Кланяйтесь, кланяйтесь! Простите и вы нас, коль сможете!

– Даст Бог, свидимся когда!

– Истина от земли возсия, и правда с небесе приниче! Господь терпел и нам велел...

– Так Господь и жидов манной кормил!

– Ох, ох, люди, и не соромно вам? Тутоти такое, вы ж... Языки пораспускали! Святоши!

Хреста на вас нетути!

– Да ладно ужо!..

– Ладит, да не дудит!

Голоса, голоса, голоса... И только Екатерина Дмитриевна, среди детушек сидючи, их всех обнимая, грея, молчала – лицом твёрдая, очами свежа, духом стойка. Молчала – и, кажется, улыбалась даже. Красивая, возвышенная.

...Скрип-поскрип колёса, скрип-поскрип... ползут мимо околицы нескончаемой призраки: вестовые столбы. Широка ты и хожена-нехожена да неухожена сторонушка родимая. Всего вдосталь, а счастья – кот наплакал. Скрип-поскрип колёса... Скрип-поскрип...

На вторые сутки пути, к вечеру впритык, большой привал сделали. Костры разложили, кашеварить начали: не до жиру – быть бы живу. Неподалече от Екатерины Дмитриевны Малковы расположились. Сам, Никифор Никанорыч, с передка слезая, крикнул:

– И здесь соседи!

– Да уж, – нехотя отозвалась Екатерина.

Пауза. Потом:

– Попомнють они мне лихо это, да-а!

– Мстить будешь никак? – супружницы, Пульхерии Семёновны, голосок завёлся – с пол-оборота! – так попервой, живчик ты мой разлюбый, не загни с кормёжки такой. До Сибири доберися, или куда нас забросят! Ну. А кто нас тама ждёт-не дождётцы и кому мы тама нужны? Худо, бабоньки, ой-ёй-ёй! Под Советами ентими, как при царе. И пошто большевички на нас разгневались, пошто в немилость ихнюю попали почём зря?!

– Хм, сравнила, Пулька! Да при царском режиме-то мы хотя бы на месте насиженном куковали, а тут...

– Р-разговоры!! Н-ну я вас, не замолкните если! Пропаций класс вы!

– Сынок, ты чевои енто? Аль уж и поговорить, душеньку отвести не можно? Да видь чать поди не уголовники мы какее, не убивцы христопродажные – простые люди будем. Вона, вишь, кому-то хозяйство наше не приглянулося, поперёк горла встало, вот в кулаки нас и записали. А какее мы, скажи на милость, есть кулаки? Всю жисть горбатились, не покладая рук, чтобы на старости лет чуток хозяйством обзавестися – и нате ну ты: с гнёздышек родименьких взашей гонють! И куда – не иначе в Сибирь! Ироды!! Душеловы!! Как липок обобрали – и выкинули!

– А ничево, гражданочка. Сказано-велено, чтоб про политику ни слова! Вот и ни гу-гу значит. Ужинайте покуда, что есть, да и отбивайтесь по-хорошему. С ранья дале тронем. Путь не ближний, верно. Приказы же сполнять нужно, я так понимаю.

– Не перечь, квоча, вишь, с наганом оне и солдатики под боком. Как вгонит в зад твой граммучечки, так сразу и запростолюдишься. Понимать нужно. Ты таперича кто? Гражданочка! Вот и будь-не баламуть!

– Ой, ой, ой! Живчик! Чёй ты понесло-т? Не иначе как с голодухи. А я, люди добрые, так скажу: он хоча и с наганом да над солдатушками поставлен за командира, так видь не волчица, чать поди, ево народила-то, а така ж бабонька русская. Потому долон понять больку нашу, отчаянье!

– Вы бы всё-таки роток на замочек, мамаша! Недосуг мне трескотню вашу слушать. Опять же, гляньте на соседочку вашу – на мадамочку с ребящёнками. Сидит себе, помалкивает. Потому сознательная! Пометочку на сей счёт сделаю, у меня ведь при себе списочек имеется, напротив каждой фамилии дорожные примечания поставлю для порядка, кто как себя в дороге проявил, какие допускал высказывания. Вы бы лучше с неё, с красавицы этой писаной, пример брали! А то у вас, погляжу, язык и вовсе без костей. Нехорошо! Людей баламутите!

Офицер, старший конвоя, имел в виду Екатерину Дмитриевну, конечно, когда призывал к порядку словоохотливую Пульхерию Семёновну. Горделиво, сосредоточенно-спокойно восседала она, героиня наша, детьми окружённая, с Серёжей на коленях, излучала на четыре стороны восхитительно чистую, неземную почти красоту душевную, подчёркиваемую женственностью вешней, женопокорливостью и озаряемую отблесками алыми костерков, зари... С лика мадонного её сходила – сойти не могла, лепота природная, сходила-стекала, глаз сторонний радуя, разве что не журча погласицей и... не могла стечь, ибо неизбывна, неисчерпаема была... В ответ на слова неказённые улыбнулась офицеру, соседушке – сразу миру всему улыбнулась мудро, обронила: «Места везде родимые, российские! Будем живы – не помрём!» И колокольчиком одиноким, тихим залилась ясно – то приветно, высоко, лучисто заиграл смех не сквозь слёзы. От жизнерадостности этой малость и дали развиднелись, а по небу небушку искристо вспыхнули в лиловой выволоке, отозвались эхом серебряным первые звёздные ласточки – запорхали-замерцали трепетно, дружно... тонко подпели!

– Не скажи, милая! То ты в собственном домушке заботы знать не знала, хозяйювала всампрядь, таперича попотчуют тебя и мальков твоих казённым харчем! Бурдой. Через тебя, ридилица, да через такех, как ты и мы лихо нонешнее терпим. Да-с. Не нравится, чать поди, да куды деваться? Рази ж на кудыкину гору, так и её здесь днём с огнём не найдёшь!

Внезапно наклонилась к мужу, сверкнула очима выеденными, злодышными, на красного командира направленными и зашептала остервенело:

– Ей что? Соломенная вдова была – сейчас просто вдова. Барыня-с! Вы, господин хороший, с ИМИ (ёрничая) поуважительней будьте. Им вона места здешни приглянулись. Ничё-ё! В Сибири волчицей, голуба, взвоешь. Поглядим тогда, что от доброты-красоты твоей сохранится, а что стерётся в порошок!

– Осади! Слышь-ко, охолонь малость! Не вишь, рази, тож мается, да только духом постойчее нас с тобою будет.

– Да ты никак втюрился, муженёк? Ох, не могу! И-и!!..

Заскрипела ржаво смехом, от коего мурашки противные повылазали.

– Чтож, знать не судьба! Нету больше Павлуши моего... чую, знаю. Ни единой весточки за всё это время, а прошло, почитай, немало... Что же до красы моей, кака тут краса? Детей бы поднять!..

– Во, запела! Правду бают: собою красава, да не по красаве слава!

– Опять за своё?

– Сиди уж, муж. Объемшись груш!

– А вам я, гражданочка, с детьми которая, искренно вполне сочувствую. – Заговорил офицер. – Что же до трескотни вот этой гражданочки (хотел сказать «ентовой – поджучить бабённку сварливую, неугомонную, да передумал по ходу), то сразу же заявляю: все вы тут

одним мирром мазаны. И отношение ко всем потому будет одинаковым. Поимейте так что вот в виду.

При словах сих красноречиво взглянул на Екатерину Дмитриевну и с усилием заметным глаза свои, изумлённые и какие-то по-мальчишечьи дерзкие, лишь секунд пять-шесть спустя, а то и поболее, в сторону отвёл...

– Хм, наш-то офицерик! – подморгнула Пульхерия супругу.

– Прекрати сейчас же, дурья твоя башка!!

– Енто не моя – дурья, а твоя, голубок, раз не отмазался и всех под монастырь подвёл, урод!

...Низко долу, к реке самой, что, вестимо, на западе осталась, недалеко ещё, тянулись-текли отсель духмяные струи степных настоев и лоскотал тишину недреманную кузнечик бойкий – своё крохотное счастьеще ковал, не перепархивая скоком с места на место, как в минуты недавние, но обстоятельно, делово на стебельке тонком расположившись. Хор цикад могуче, пьяно обрушился вдруг отовсюду... то ли в поддержку солидарную кузнечнику одинокому, а вернее будет – что где-то в незримости сущей некую перемышку прорвало словно и выпростались на вольну-волю ядрёные голосишки из тысяч глоток лужёных! Без просьбы-подсказки кузнечиковой, по собственному желанию-усмотрению! Студёным, ночным повеяло... Благостью... Вскоре путники, раскулаченные и конвоиры, на боковую устроились. Охранять особо никто никого не собирался – на вёрст десятки ни души, куды денешься со скарбишком дорожным, с малолетками? Так, порядка ради, караул поставили было, да после и убрали – успеется! Начальник конвоя, Иван Опутин, решил ночку эту, одну из длинной вереницы тех, что впереди предстояли, провести, не смыкая очей. На шаг оный подвинули его глубоко личные (он же тешил себя, что не только личные, но также и служебные!) причины, соображения. Ему под сорок. Широкое в кости, смугловатое лицо, уже не дерзкие, а в темноте окутавшей мутноватые, глинистые с озлобинкой в зрачках глаза, волосы торчком, на правой руке, на безымянном пальце шрам заметный, грубый – в империалистическую, когда без сознания между жизнью и смертью валялся, сволочуга какая-то вместе с колечком обручальным под самую фалангу в аккурат срезала. Хорошо хоть, очухался тогда от боли взорвавшей Иван, гниду придушил наскоро (и пикнуть не успела!), а обрубочек к кисти приставил... была же зима, он ещё и снегом облепил место кровоточащее, обмотал лоскутом от поддёвки да ходом своим, ползком-перебежка-ми – в лазарет. Пока добирался, менял снег, быстро краснеющий, да у санитарочки обомлевшей бинтом запаса – повязку обновлять. В тот день ему повезло несказанно: на фронт приехал из столицы хирург крупный, известный, ну, случай этот профессору *показался* – вздумал палец пришить! Дали Ивану спирту, вмазал Иван ректификатику, забалдел, не без того, а корифей медицинский с ассистентом на пару операцию сложную, можно утверждать, ювелирную, и провели. Сросся палец с основанием, что у кисти прямо, так здорово сросся, будто никогда его и не отрезал гадёныш полозучий. Только рубчик махонький и напоминает о «приключении» былом... С поры той поклялся зарочно: мироедов, мародёров, мздоимцев давить, молотить, в бараний рог к матерям чертячьим гнуть до последнего выкормыша и гнуть не переставая! Советская власть ко двору евойному кстати пришлась: служакой ревностным Иван заделался, слово, самому себе даденное, крепко держал.

Дождавшись, когда все кругом угомонились, подошёл к телеге, на которой Екатерина Дмитриевна, калачиком сложившись, Серенького приобняв, первый сон наверняка доглядала. В шажёчке остановился – в руке головёшка горящая вместо факела – воззрился на красавицу спящую. В изголовье встал, чтобы лицо мученицы ближе, крупнее было. Разбросавшись, вокруг неё сладко посапывали дети, укутанные заботливо, хотя, слава Богу, ночки стояли тёплые, добрые. При слабом свете матовом Катюша казалась краше некуда: алой томностью, нежностью дышало обличие молодой женщины. Но и не только ими. Всё оно, чёрточка, рисочка махонькая, говорили об одном, просили одного и не просили даже, а требовали – ласки. Ласки, чтобы

утолить, снять страдания дорожные, восполнить пустоту жестокою, обиду на тех, кто грубо обошёлся прежде всего с детьми, потом уже – с нею.

Безмятежно спала... ну, почти безмятежно, ибо тайное ожидание читалось на челе – милом... прелестном... Коса её, бронзовоцветная, с окалинными отливами там, куда падали от головёшки пылающей яркие тени, походила на дремлющую, только что сбросившую кожу змею, которая, свернувшись частично, охвостьем земли доставала; змея эта, мнилось, охраняла и Екатерину, и деток... не подступись! Опутин нерешительно переминался с ноги на ногу, любовался богиней закланной, ощущая в груди своей нарастающий жар. Смотрел и представлял: дарит ласку человеку чужому, целует губы, глаза, подбородочек, мочку уха, такую чудную, хрупкую... Находит слова утешения, поддержки, слова, о коих прежде ни слухом, ни духом не ведал, хотя твёрдо знал: есть, имеются такие и наступит час – родятся в душе его, прольются широко, освободят сердце закалённое от чего-то долго-долго внутри скорлупки незримой сдержанно пребывающего – таинственного, тоскующего, ломающего... Вот наступит час...

Был Опутин вдов. Жёнку потерял, когда с матёрыми врагами власти Советской бился-рубился: вроде и недавно, а инно кажется – вечность целую тому назад... годков не считал, не до того было, обратный же отсчёт и подавно не вёл. Женщина, которая сейчас находилась перед ним, Азадовская, по мужу Бекетова, Екатерина Дмитриевна, запала в него глубже некуда и запала сразу. Чем-то схожа была с покойной супругой? Да нет... Красотищей невероятной взяла? Бесспорно. Однако не это главное. Что тогда? Не знал. Просто потянуло к ней. Неосознанно. Нестерпимо. На минутку малую захотелось дыхание Катиню щекой поймать, запечатлеть... Крадучись, вплотную подошёл, голову наклонил-приблизил, подставил скулу, ухом приник к той воображаемой черте, за которой начиналась ОНА. Взвесь духа и плоти! Прекрасный цветок, сорванный чудовищной несправедливостью века, брошенный наземь, обречённый... Не растоптанный, но в канаве пыльной. Странное дело – поблазнилось Ивану: лепестковые уста ЕЁ – это губы чего-то большего, нежели просто губы человека, женщины... Губы самой ЛЮБВИ, через них её величество ЛЮБОВЬ общается с грешниками... Они, губы, служили и продолжают верно служить неразрываемой *пуповиной* эдакой, связывающей душу с глиной... А потом почудилось Опутину: она, Екатерина, – и не она вовсе, а слиток света, принявшего форму вождельённую, и настолько ясен, ярк, поистине лучемётен источник сияющий его, что смотреть больно... не глазам!

И лишь коса...

...тяжёлая, литая, темно-пшеничная, коса женщины контрастировала с блистанием и невольно побуждала Ивана быть сдержанным, контролировать себя. Происходила какая-то игра, непонятная, захватывающая и совершенно безумная, оторванная от действительности, приснившаяся наяву и дарующая смешную, дикую надежду на чудо из чудес... Ах, только бы не прекращалось это действие нешуточное и по правилам, установленным невесть когда и кем!

До кожи его дошёл тёплый, тихий выдох безстонный – зимою дуновением оным на морозное оконце можно за секунду-другую отогреть в дебрях расписных крохотную луночку для сквозного узенького лучишки или взгляда на мир извне...

Ещё выдох... Будто младенец то...

И – по тишине необъятной – гимны, гимны колдовские цикад, кузнечиков, комаров... одолей-травы (отравы!) бормотание дрёмное, без слов!..

И – звёзды, звёзды... Сухой морозящий ливень... продолжение земного бала...

Опять с ноги на ногу переступил: затекали. Выпрямился...

С очевидностью огромной, беспощадной собственное никчёмное одиночество уразумел. И – показалось-послышалось, нет ли? – знаком свыше вызвезданность горняя осенила как бы: проступило на пути... немлечном слово заветное, слово заветное думки непрощенной, думки непрощенной – чувства запретного, чувства запретного в жизни-судьбинушке – «МОЯ»!!! Осенила, да...

... и проглотила признание горькое, а потом по буковке златенькой тремя падающими звёздочками, надо же! землице родимой и возвратила – для людей оно, не для звёзд... Для таких вот самых, как Опутин Иван, да, да, для таких...

«М»... «О»... «Я»...

«Вся вина-то, что полюбила безбожно офицера белого, через него хоть небольшой недостаток поимела с детьми! – мыслил Иван Евдокимович, с близкого далёка разглядывая отдыхающую маету. – И какой-такой она враг? Какой-такой кулак? Кулачка... Мнда-а... видно, партия мудрее, опытнее, раз вот таких раскулачить решила. Не мне, уж точно, с умишком хлипким моим тягаться со стратегией впечатляющей, великой целого этапа исторического, нами переживаемого... Наверху всё знают! Оттуда гораздо видней!»

Он вспоминал опухших от постоянного недоедания детишек, мужиков голодных и бабонек – кожа да кости! – в глазах – мольба пыточная: подайте, Христа ради, хотя бы крошку, зачуточек... Сопоставляя их заморенные лица с раскормленными рожками тех, кто нахапал добра, кто в лабазах-амбарах столько зерна золотого под семью замками хранил, что заводскую артель неделю целую можно было кормить досыта, да ещё осталось бы...

«Испокон веку одни богатеют, другие едва ноги переставляют. Где же справедливость? И верно власть родная постановила: излишки отымать, экспроприировать! Только всё равно мне жаль её... Господи, ПОЧЕМУ ВСЁ ТАК В ЖИЗНИ?!!»

В недрах сознания тревожно, смутно клубилась ещё одна мысль, мысль крамольная, страшная, пусть и не до конца додуманная, не полностью сформировавшаяся, но уже полоснувшая, по живому как, сердце честное, закалённое в классовых битвах – и одинокое. Он судорожно вздохнул – Екатерина Дмитриевна слегка вздрогнула во сне, потянулась сладко и разнеженно... Потянулась аккуратно, не забывая о том, что вокруг дети, а рядышком, у груди самой, примостился Серёжа: только женщины, мамы, обладают шестым чувством особенным – всегда, какими бы измотанными, измученными ни были, помнят, что лично ответственны за судьбу, сохранность и безопасность маленького человечка, которого произвели на свет, а если и не родили которого, то всё равно он доверился... беспомощен... и потому, даже будучи во сне, находясь «в отключке», не причинят вреда этому живому, тёпленькому комочку, ибо контролируют себя, движения свои на уровне чуть ли не подсознательном, подкорковом. Инстинктивным.

Опутин в очередной раз убедился в исключительной точности давнишнего наблюдения-вывода в этом плане и посему крамолу смелую, вызревающую, невысказанную голосом внутренним, не высказанную до поры до времени, не загубил на корню – дал ей и дальше тлеть? разгораться? в закоулках тайных, тихо озаряя лабиринты и тупички души успокаивающим, ровным, сердцебиенным пламечком.

Между тем, словно ощутив постороннее присутствие, Екатерина Дмитриевна вторично потянулась – женственно – и приоткрыла глаза. Взгляды обоих встретились, слились в прозрачную *недошлость* – некую недоделанность, незавершённость, по крайней мере, на мгновение непостижимое именно так показалось Опутину.

– Так что не беспокойтесь, гражданочка... я... не причину ничего плохого... может, пить хотите? Дорога дальняя, пылуки вон сколько... А?

– Что? Пить?

Села, грациозным и опять же осторожным движением свесила ноги с телеги, хлопотливо-заботливо огляделась и младшеньких своих принялась пальтишками да одеяльцами тряпичными укрывать получше... первым делом, конечно, Серёжу – подоткнула аккуратно со всех сторон малахай какой-то, выцветший, мятый...

Опутин, защитник пролетарской революции, старший конвоя, проникся неожиданно тем, что он совершенно чужой здесь, что вторгся в огромное, светлое мироздание, вселенную! чудесным образом распахнувшиеся перед ним тут, посреди ночного безбрежья приволжских

степей на одной из телег, да и не телег вовсе, а сказочного портала – *входа* в святилище души женской, врат, держащихся на хрупких плечах этой самой раскулаченной кудесницы (несовместимое в одном!]

– Подсобить разве чем? Вы попросите. Я же не зверь, хоть и зарос так! – дотронулся ладонью до щетины на лице. Потом услужливо и также *осторожно*, аккуратно поднёс ближе чуть-чуть факелок горящий – Детишки вон у вас, да ещё ребятёночек... не застудить бы! Ночи студёные!..

Она отметила про себя: «Не застудить бы...» То есть, он не открещивается, готов разделить с ней заботу о маленьких, о Сереньком...

– Тяжко, небось?

– Ничего, сдюжу. Были бы только они здоровы. Не скажете, долго добираться? К осенним холодам поспеть бы!

Не то действительно в два счёта застудить можно. Ведь на ветру постоянно...

Опутин молчал. В мгновение следующее вышло ему: она ведь такой же человек. ЧЕЛОВЕК!!! Наш, советский, не убийца, не изверг, не... прокажённая!!! Глухо, беспокойно колотилось в груди сердце, билось о внутренний карман «хэбэ», где обложка к обложке, ровно плечо к плечу, хранил книжечку члена большевистской партии и депутатский мандат. И хотя в теории государственного права ещё не существовало точного, однозначного определения категории «наказы избирателей», лично он, Иван Евдокимович Опутин, бережно, свято относился к письмам крестьян, в которых ставились те или иные вопросы, предлагались меры по улучшению взаимодействия всех уровней власти, высказывались советы, пожелания, конечно, имелись и обращения с просьбами... В обоих документах этих была заключена суть и была сама соль бурной эпохи, переживаемой им, его сподвижниками. Именно в них стучало пламенное сердце патриота, русского по духу, но обжигающий, ободряющий и обожающий взгляд мужчины тонул, тонул в глазах напротив – сначала погружался в округлые омуты-заводы, в зрочки пустождущие, а потом уходил медленно куда-то вглубь, вниз... опускался на дно... чтобы никогда не всплыть, не вернуться назад и чтобы – ослепнув, прозрев?! – как бы просочиться до святая святых, до недр глубинных её, раскулаченной и, скорее всего, без вины виноватой. Чтобы остаться там и помочь – ей, и самому себе уяснить главное, до сих пор непонятное: в чём вообще состоит прегрешение человеческое, ведь от рождения чисты и непорочны смертные, так почему, когда же и справедливо ли всё тяжелее-неподымнее становится крест каждого, каждой, делается торнее и уже путь, пагубнее дела и поганей душа?!

Исходила-изливалась ночными вздрагиваниями летняя сонная мгла и купы звёзд стоически, изучающе взирали на тропы земные, что одинаково путанно, странно стлались для всех-всех-всех и только для двоих...

– Ворожея...

– Что?

– Молодёшенькая...

– О чём вы?

– Н-ничего, это я так... просто! Извиняйте!

– Слова-т какие!

Плыло осязаемо, зримо и... стена, плыло подлунное вечное по барханной словно, в межах несуществующих воображаемой степи... от горизонта до горизонта и дальше, дальше плыло *оно*... сквозь шелесты полыни, перекасти-поля, разнотравий, той же осоки, что в пойменной, невдалече, низинке разрослась... сквозь серебристый позвон не то насекомого царства, не то колокольчиков в ушах... плыло и плыло – отдавалось со страстью, томлением, ответно нащёптывало сокровения... их-то и воспринимал Иван Евдокимович, они-то и завораживали его, внимающего ночной песне без слов, Гармонии уединения, невозвратимости минуточек этих, упоения бездонностью и новизной обуреваемых чувств. Екатерина Дмитриевна внима-

тельно-несердито посмотрела на офицера, сронила вздох легчайший – случайный, нет ли – в без-адресность-нездешность... Полузвук тот затерялся-пропал было во глуши-оглуши... в цвете полной луны... да Опутин не позволил сие: подставил ненавязчиво-чутко уже не щеку, не скулу, недавно как, но собственную душу, тоску и одиночество неразделённые с половиночкой найденной(?!), кои ни работою, ни принципами-убеждениями не в состоянии был пересилить-перемочь, старайся-не старайся, хоти-не хоти того... Он НЕ МОГ, НЕ МОГ взять и преодолеть их, взывающих к милосердию женскому, требующих единственного – чтобы сейчас же, немедленно, изъятая, выхваченная из плывуще-вечного мига бытия всемирного, оторванная от пространства-времени злободневного, она, ОНА *пожалела* его!!!

Вздохнул...

– Вам, небось, тоже не сладко?

– Небось...

И казалось, пронзительнее стали звёздочки, пронзительнее и выше, будто приподнялись над самими собой, чтобы можно было шире, больше охватить сушеземного, воспринять, запечатлеть на мерцающей сетчатке некоего громадного, запредельного ока вполнебного человеческую совестливую доброту. А может, напротив, опустились-навис-ли – и внимают речам несказанным, и осеняют горним сиянием их, обоих, – избранных родом людским?..

В крошечной «деревухе-Боровухе» (сельчане придумали!), что под Орлом, живёт-поживает маманя Ивана Евдокимовича – Степанида Васильевна; отец, Евдоким Мироныч, на русско-японской, под Порт-Артуром, голову сложил, не успел наставление мудрое жене сделать: сперва внучат дожидись, потом, не раньше, гляди мне(!), на тот свет собирайся... Не успел – не смог. Но бабонька российская по своему верно рассудила: раз муж не дожил, значит, должна я за него куковать! За себя, это уж как водится, но и за него, да чтоб непременно внучаток дожидаться, вынырнуть! Вот и живёт-поживает мирно-ладно в деревнюшке, с окружающими не ссорится, никому не завидует, никого не цепляет – одной семьёй-душой с соседями, благо допрежь, во прежние присные лета, крови единокровней все они были: селеньице «ихнее» основал в незапамятную пору некий Опутчиков Семён – судя по фамилии, промышлявший тем, что волчьи тенета мастачил ловко, да и не токмо волчьи – на зайца, ещё на кого... Короче, был у них малёхонький семейственный раёк в Боровухе... был и не сплыл, от старших – к младшим передавался, а жители, в том числе Степанида Васильевна, обстоятельство данное ценили превыше прочих. Благо узы родственные не рвались с годами, потомственность была в почёте и вопрос «каким родом ты сюды затесался?» здесь не был возможен в корне. Род не род, а корми народ! И всё бы ничего, всё бы чин-чинарём в судьбе ейной шло – мужа лишилась, ну, так война, вестимо дело! – да только со внучатами накладочка раз на раз выходила. Во годы отроческие, молодые нравилась сыну, Ивану, Маруся Мазурова – жаль, не сошлись! С носом остался. Потужили порознь да малость (особливо она, маманя!), а делать нечего, перестраиваться надоть! Но тут... такое зачалось: Антанта... гражданская... революции в Питере... Водоворот событий бурных увлэквов-лэк – без остатка! Ни о какой женитьбе не помышлял более Иванушка-дурачок её! Ан, нет, на поверочку иначе получилось: на себе женила его одна... Хозяйственная, рачительная... С приданым даже! Померла, увы, рано, Зинаидушка! Оставила без потомства. Что ж, зато с двойным кипением отдался служению Родине...

...И вдруг нынче, в степи этой колыханной, овеваемой сквозняками духмяными, днём, такожде ноченькой последующей, зачарованной, дикой, кипчакской, словно бы очнулся он от беготни, мыканий, вечных заданий специальных, особо важных, обращений к нему людей простых – и обомлел... годы идут, летят... Ну, был женат, ну, имел виды на Марусю, (впоследствии Никитину – не Опутину!), ещё на кого... А в итоге что? В сухом-то остатке?!

Один. Просто один. Как перст.

– Была, была молодёшенькая! – спустя минуту-другую с дрожью тихой в голосе и вдогон мыслям-чувствам Ивана произнесла Екатерина Дмитриевна – Бы-ла...

Ему же почудилось: защебетали вновь соловушки боро-вухинские – из тех, минувших, дней пичужки! Из дней ожиданий, дней предтеч, по большей части разлук-не встреч и не свиданий... дней бестолковых, что там ни говори, вобравших, губкой словно, обещания, надежды... из дней, что канули зазря... Знобко и уютно сразу! Самого себя не узнавал: жил – не жил? Он ли это – другой кто?? Ах, достать бы до дна души её, этой несчастной богини... Всё несбывшееся и утраченное, о чём грезил, мечтал, волшебным-мигом обрести – для неё... и оставить навеки в сердечке неродном! Тогда полегчает – обоим. «БЫ-ЛА» – нараспев повторила она, а Иван услышал в переливах гласа катюшиного совершеннейшую добродетель – добродетель жертвенности за просто так, когда горе, гребты иного человека воспринимаешь острее собственных заморочек. Услышал журчание бесценное, кое кропило-исцеляло нежностью студёной-волглой каждый сколок, черепочек того, что образовывало и составляло, цельнонепреклонную натуру, духовный мир большевика Опутина, что формировало его гордую и правосудную личность. Во внутреннем кармане кожаной жилетки парили, торкались в грудь, но не доставали сердца большевистская книжечка и совдеповский мандат.

А потом и вовсе чудеса начались! Исчез мир вокруг, замедлило ход свой время, необычайное волнение охватило всего его и повело... повело – к ней. Из ничего возникали речи-не речи и того и другой... себе же наперерез, опережая мысли, неслись неслышимо-невидимо, сталкивались в не-тишине подлунной, разлетались-распадались на отдельные междометия, буквы, рассеивались в туманах необозримых, которые застили окружающее торжественное житиё... Рассеивались, да... оседали куда-то... но тотчас вновь собирались, возрождая вечную маету броуновскую, круговерти-хороводы... и вытягивая из прежнего «ничего» нити-вязи, и мостили тропочки исповедальные во имя взаимности, обоюдности – за ради двоих?..

– Потерял я головушку с тобой... – ОН.

– Имябожец ты... – ОНА.

– Небритый, в пылюке дорожной... Куда уж боле!.. – ОН.

– Человеке хороший! А дорожная пыль, вестимо, небо не коптит! – ОНА.

– Как дальше жить – без тебя??? Как??? – ОН.

– Другую найдёшь! – ОНА.

– Погибель найду! – ОН.

– Зачем я тебе? Чтобы потерять? Хотя... – ОНА.

– Да разве ж находят для того, чтобы потерять? – ОН.

– Я сама себя потеряла, лебёдушка вдовая, так что и терять нечего! Как не стало Павла, так и потеряла... А живу – ради них (На деток кивнула) – ОНА.

– Неужто и впрямь любила его? И за что?! Белогвардейца, графёныша?! Не по-ни-маю! И отчего мы раньше не встретились??? – ОН.

– Любила? Не знаю. Люб был, а любила, не любила?.. Мудрёно как-то... К праху не ревнуй только. К имени, к памяти не ревнуй! Лады? А что раньше не встретились, так, значит, и не разошлись! – ОНА.

– И не разойдёмся! – ОН.

– Сам себе не лги! – ОНА.

– Не хочу ничего и никого – только тебя! – ОН.

– Ведь не знаешь меня, не знаешь, какая я... – ОНА.

– Не хочу, боюсь знать! Какая сейчас – такая и есть. Приму! – ОН.

– Неразборчив, значит? – ОНА.

– Молчи...

По мере развития диалога странного приближался к ней. Притягивали луны глаз родниковых, примагничивала аура задушевная... и вся она, Екатерина Дмитриевна, примагничивала-привлекала – не касалась, нет, конечно, но словно облегалась вокруг него – объятно. Откровенно и тихо, тайно... несмело... Внезапно начавшись, неожиданно и закончился счастливый,

безумный полубред ночной... Волна восторга блаженного окатила приливно, преогромно – и каплюсенечкой, былинкою – «ах!..» Трепетали губы не встретившиеся, звездопад воссиял и нужно стало желание загадывать спешно...

Слитный, сдавленный вздох... Непорочный стон-не стон в унисон... Из слов не слепишь ничего! Талант, шедевр... – их нет в помине. Есть ощущение твоего безгласия в... родной! пустыне...

БЫЛО ЛИ ВСЁ ЭТО, НЕТ ЛИ??!

...Заря обдала розовой пеной восток и дальше, дальше в путь-дороженьку многострадальную раскулаченные двинулись. Иван Евдокимович, суровый, жёсткий, раздавал команды направо-налево да матерился угрюмо. От злости не на самого ль себя? Он один – вру, ещё ОНА, знал... знали, какая неистовая нежность кромсала по живому плоть, душу, рвалась на люди, чтобы смеяться, гладить детей – чужих детей не бывает, утешать горемык в лихой, горький час и казнить себя за ошибки роковые – свои-не свои...

Екатерина Дмитриевна Серёжу на коленях держала. Тот кувыркался, прыгал, звонко лопотал на радость маме (о том, что приёмная, забудем, пожалуй...) Скрипели телеги, ржали лошадки... Тут и там вспыхивала было перебранка-перепалка словесная, инициатором которой нередко становилась неугомонная Пульхерия Семёновна, иначе вскоре и затихала, выдыхалась – дольше, «длиннее» делались паузы... выше, круче забиралось солнце, опалая изгоев и гонителей их, выжигая надежды, выбеляя перекоры недавние... Казалось, пепел и прах, не колея малоезженная, волочатся полынной пустошью вдоль и мимо российских деревень... На одной из стоянок ночных, когда все они, конвойные и выселенные, похожие друг на друга неотлично («Иногда мне здаётся, что это меня раскулачили и гонят взашей к чёрту на рога» – признался ЕЙ в сердцах ОН), уже достаточно далеко углубились вверх по Черемшану Большому, в направлении заданном, когда расположились привалом очередным под сыпким, косящим слегка дождичком, первым, кстати за время пути, в немогной шелестящей округе раздался надорванный, искательный и... *обесчещенный* голос женский – вся скорбь мира, вся горь мира, вся мучительная безнадёга мира слились воедино в нескольких внятных словах, ставших и рупором беды, и мольбою кровною:

– Кем же ты будешь, Серенький мой???!!!

Екатерина прижимала к груди Серёжу, сквозь слёзы непролитые заглядывала в глазки озорные, чистые-пречистые, будто омытые рыданиями всех мам мира для того, чтобы нести ясность, прозор небосклонные, чтобы нести свет, который неизбежно прекрасен и создан из искр божьих во спасение живых. Слитно дрогнули сердца – удар этот, должно быть, дошёл-проник повсеместно днесь и ребром встал, пронзив пласты времён-пространств-материй высоких, грубых на короткий миг, но миг любой тянется вечно, вечно... комом встал в глотке Бога? Дьявола?., и тогда, только *тогда* до людей вдруг дошло, что же именно случилось с ними, что ждёт впереди, что непременно произойдёт с Родиной... Страшно мне...

НЕ ТОПОРОМ, НЕ ГИЛЬОТИНОЙ ОТСЕКАЮТ ПУПОВИНУ.

И отошёл в сторонку, словно по нужде малой, Опутин, и схватился за голову... Не его вина, что вышло так, не он, не он раскулачивал несчастных, ему велено было доставить их за Обь в верхнем её течении, в какой-то условленный пункт... он несёт персональную ответственность...

Слитно дрогнули сердца... Удар вскрика женского приняла земля родимая – не привыкать ей!

Отпустило? Полегчало?

Ребром вставшее – изникло? плашмя легло?!

А потом ОН подошёл к НЕЙ:

– Образуется ещё, *потерпи...*

Тихо, взвешенно сказал.

Даже пальцем не прикоснулся к той, кто стала его судьбой, его вселенной. Ни разу за все эти чёрные дни. Одно знал: без неё ему не жить.

...Понурый, болотный, моросный завечер утопил в непрогляди шерстяной воплище неженский, растворил без эха в шелесте зудящем капель, вбил в бездонье повечное русское... так и оставил мать ответа дожидаться. Тускло, зябко вновь и вновь догорали головни и страшно стало жить, но ещё страшнее было между жизнью и смертью находиться, участь горькую проклипать.

1

Концертный зал филармонии пуст. На сцене двое: человек и рояль. У Сергея Павловича Бородина последняя репетиция перед генеральной, на которой в присутствии мэтров отечественного искусства впервые будет исполнять «ЗЕМНЮЮ СОНАТУ» Анатолия Фёдоровича Глазова.

Странно, нет ли, но вот именно сейчас играть ему почему-то не хотелось, вернее – не могло. Бородин прекрасно знал акустические возможности помещения, где предстояло выступать, неоднократно работал, беззаветно и одержимо, на прекрасном рояле и потому твёрдо был убеждён: инструмент не подведёт. Шедевр глазовский – мир музыкальных образов, коими полнится «ЗЕМНАЯ СОНАТА», не просто изучил вдоль-поперёк, но и осмыслил, проанализировал, равно как и предыдущее, меньшее по объёму, но такое же глобальное, значимое творение, широко известный «РЕКВИЕМ» сибиряка. Посему наработки немалые, опыт пропаганды гения композитора в активе творческом имел, часто выносил на взыскательный суд слушателей и в целом работой проделанной был удовлетворён. И дело не в положительных, доброжелательных отзывах – просто сердцем всем собственным ощущал, что проникся духом глазовской музыки (начиная, кстати, с «ПРЕДТЕЧ»), стал громким рупором её, пожалуй, одним из самых мощных на сегодняшний день. Сейчас же, в эти минуты, положи руку на совесть, он совершенно не рассчитывал на какое-либо новое открытие в грандиозном замысле автора – хорошо сие? Плохо? В подобные дебри философско-этического и насквозь профессионального характера не вдавался. Тем более, не сознавался душе исполнительской своей, что, возможно, перегорел, переусердствовал...

Сергей Павлович одиноко бродил взад-вперёд по сцене, бросая странные взгляды и в тихий полумрак над рядами кресел, и в сторону старинного рояля, венчающего, украшающего помост, и... Внезапно остановился. Мысли, того не желая, выкристализовались, прояснились, приняли-таки «неожиданный» поворот: подумаешь, он перетрудился, ничего нового в гармонии глазовские не привнесёт? Причём тут сомнения? И что слушатели? Ведь они заполняют партер, ложи не во имя встречи с серой посредственностью! Они ждут, они всегда ждут встречи с уникальным, великим произведением, да, конечно, и *любое* воплощение «ЗЕМНОЙ» для пришедших на концерт будет априори в новинку, станет откровением!! Ведь только наиболее искушённые, подкованные, истинные ценители музыки запомнили, как преподнёс некогда Сонату сам Анатолий Фёдорович, и, следовательно, лишь единицы смогут сопоставить два подхода, если хотите, две концепции равновеликих мастеров – Композитора и Музыканта, Глазова и Бородина. (Ему вдруг стало противно от непомерно завышенной оценки личностного уровня, оттого поморщился...) А ежели так...

Нет-нет! О чём он? Слушатели должны не только насладиться неповторимыми по красоте, совершенными по форме-содержанию темами, которыми насыщена Соната, не только проникнуться философией СВЕТА и ТЬМЫ, не только выйти из концертного зала потрясёнными, но и... Стоп! Но что? За всем *этим* увидеть вклад пианиста, воздать должное ему, Сергею Павловичу, победителю и лауреату международных и союзного значения конкурсов, обладателю стольких премий, заслуженному деятелю культуры и прочая, и прочая... иначе грош

цена его работе! Бородин не понаслышке ведал о странностях в психологии «среднестатистического» слушателя: восторгаясь каскадами звуков, невольно отодвигать главного творца их – композитора, на второй план и *сиюминутно* боготворить и благодарить того, кто со сцены щедро выплёскивает в зал аккорды, арпеджио, стаккато, форшлаги, берушиеся то на форте двойном-тройном, то на пианиссимо. Значит, с него, с него спрос-то! И он сам себе не простит, если не сумеет передать кончиками пальцев, педалями обеими(!) биение бурного и мудрого сердца нелюдимого сибиряка, человека-легенды – боль и прозрения, порывы страсти и тоску... и гнев Титана.

Сергей Павлович вновь было замаячил по сцене, но тотчас опять застыл. Подумал ясно, пристально: всё, это – конец. Пресыщен музыкой! Никогда уже не найдёт в ней что-то новое, прежде не замечаемое, волшебным образом сокрытое до поры ото всех. А высасывать из пальцев, из «подушечек», старательно, профессионально расцвечивать плод чужих раздумий, грёз, надежд нюансами собственного мировосприятия, «изюминками» в исполнении – добавлять *своё!* – надоело. Устал. Устал и точка. Он, Бородин, исчерпал себя. И потому не имеет никакого права морочить головы сотням других меломанов и просто любителей музыки, пришедших отдохнуть душой. Отдых нужен ему, Бородину! Так что же, – расписаться в творческой несостоятельности, отменить и генеральную репетицию, носящую часто формальный характер, и уже поставленный Всесоюзным комитетом по делам искусств при министерстве культуры СССР в какой-то там план скорый концерт?..

Или усилием опыта, таланта, воли возродиться, «пробудить» внутри себя второе дыхание?! Быть достойным Глазова-человека, чтобы вновь явить миру Глазова-композитора!! Он понимал: можно многократно исполнять конкретно взятое произведение (любого размера...), но всякий раз будешь играть иначе: нельзя дважды войти в одну и ту же реку, нельзя чисто физически! абсолютно одинаково, словно ты запрограммированный автомат, нажимать на клавиши, до мельчайших долей секунды копировать паузы... дублировать, тиражировать душу вкладываемую – немыслимо! И, перенося сущность свою, а в большей мере – автора, на клавиатуру, он, Сергей Павлович Бородин, черпает – откуда, из чего?! – восполняемый ли запас чувств, страстей?..

И опять стал прохаживаться вдоль сцены по едва скрипучему дощатому настилу, а в тусклой глубине огромного зала, чудилось ему, ждут первого звука Сонаты призрачные посетители... невидимые тени... Ощупывают с ног до головы сотни пар внимательнейших глаз... и вот уже сгущается, неумолимо, исповедально, некое высокое напряжение, повышается градус внутренней борьбы, учащается немой пульс вопрошающей тишины... Такое случалось прежде. Он будто намагничивался, собирался с духом. В мгновения жутких самокопаний, угрызений совести, раздумий улавливал готовность наивысшую свою – тогда буквально набрасывался на клавиатуру, сотрясая воздух набатами громогласными, либо извлекая одинокий, задышающийся минор...

Сейчас, однако, перед лицом грандиозного свершения – по иному представление на суд музыкальной общественности «ЗЕМНОЙ СОНАТЫ» в его, Бородина, исполнении, прочтении, понимании и не назовёшь! – *накануне* этого самого действия он уловил смутное, нарастающее волнение небеспричинное и беспокойство оное глухо росло, распирало грудную клетку, вызывало острое неприятие чего-то до конца ещё им не сформулированного, неопределённого, корнями уходящего во все стороны и уходящего очень-очень глубоко, глубже, чем в аналогичных ситуациях до сих пор. Что-то было не так...

Что???

И тут осенило: «не *так* всё!» И дело даже не в том, что не может унять сердце своё, толчками и до срока выталкивающее из груди душу... унять, в противном случае порежется в кровь о рёбра, бессмертная и неприкаянная, прогрызаясь из костлявой тюрьмы; не в том, что слишком много сил отняла «ЗЕМНАЯ СОНАТА», что фактически он, Бородин, исчерпал

себя... Опыт, инстинкты, жажда творческого бытия помогут, обязательно помогут преодолеть физические и нравственные страдания, беды, подскажут пути реализации скрытых возможностей, резервов, о чём, к слову, упорно твердят учёные мужи и врачеватели, и психологи... Не *так* – главное: прошла жизнь, ему давно за шестьдесят и он жил *не так*, он не так, как нужно было, жил и он не знает, *почему?* не знает *как же* ему следовало бы жить. Поскольку живи он в тысячи раз насыщеннее, полезнее, одержимее, всё равно ужаснулся бы – не сегодня, пускай не сегодня, а завтра или через год, через... 10 лет... Ужаснулся бы тому, что – всё, поздно. Ничего нельзя исправить, изменить, можно только каяться, бичевать себя, утешать иллюзиями, наградами, воспоминаниями, выдавая желаемое за действительное. Перед человеком всегда стоит выбор и (если не – «но»!) выбирает человек спонтанно, стремясь к лучшему, к прекрасному однозначно, но – стихийно, сумбурно, руководствуясь сомнительной сиюминутной выгодой, блажью... Возразят: любой из живущих продумывает каждый последующий шаг, строит планы, советуется... ну и что? Поступает же с точностью до наоборот, образом таким, слышите, родные, таким именно образом поступает он, чтобы потом убиваться, совеститься, отдавать себе отчёт: а ведь ничегошеньки не оставлю после... другим, окружающим! Ровным счётом ни-че-го, кроме неизреченной на смертном одре мудрости всепонимания позднего и невозможности, увы, всепонимание оное реализовать! И какая здесь мудрость, спрашивается? Тщета! Самообман человеческий! Последний наш самообман... Не потому ли и называется таковой: «последнее прости!»??

Сергею Павловичу пришлось даже присесть на стул «возлерояльный» – не оттого, что «в ногах правды нет» – спёрло дух. Кто сказал, что искусство приносит творцу счастье, радость? Нет, оно исступляет, делает изгоем, калеккой, подчиняет своим законам и железобетонной воле, ритму самую незаурядную личность. Перемалывает талант и выплёвывает бессмертные крохи гениального... Гений – это и вовсе громадное перенапряжение нервов, это вечные тоска и одиночество, две неразлучницы-сестры, это запёкшаяся внутри тебя горечь, которую не имеешь права подсластить, ибо тогда потеряешь право творить.

Так и живи, в противном случае труд твой пойдёт насмарку, гроша ломаного не будет стоить.

Так и умри, чтобы остаться в веках.

...На сцене двое: Исполнитель и его Инструмент. Мастер и Рояль. У Сергея Павловича Бородин собственная, перед генеральной, репетиция.

Бородин...

Не в нём дело. Дело в том, что в момент какой-то из недр сознания, из сокровенных самых приделов души вдруг всплывает странное, сатанинское в чём-то наваждение: вот, мол, я, творец, создаю образы, сюжеты, гармонии, создаю их в цвете, в звуке, в камне, из слов удивительных... – ну и что? Воздвигаю над нашим, существующим, вымышленный мир (или мирок?..), но для чего? Даю-таки выход накопившимся эмоциям, хочу поделиться наболевшим, набившим оскомину... самореализоваться, воплотить себя, обессмертить жажду... грежу о том неизгладимом следе, который оставлю потомкам, шире – человечеству благодарному?! Дарую ближним, и не очень, сказочную химеру, сон наяву, ибо стесняюсь собственной переполненности, нежности, страсти высокой, стесняюсь неистового желания своего отдавать всё без остатка тем, кто вокруг и рядом и лишь с помощью творчества, искусства нахожу способ облегчить душу?? Не я, – так герои, образы мои будут прекрасными, открытыми, искренними запредельно! Мой же удел – замкнуться в кабинете, уединиться с кистью среди полей-лесов, сохранить всё, как есть и только через *них, опосредованно!* давать выход чувствам, идти от себя – к людям.

Но что? какая сила побуждает-таки ваять, писать, исполнять... – творить???

Эгоизм?!

Откуда в художнике уверенность в том, что искусство его – дитя творческих мук родовых, самодостаточно, совершенно, под стать шедеврам невымышленным той же природы вокруг? А не скрадывает ли он истинный плеск волны, говоря, что плеск оный – утомлённый, тихий, обещающий, того хлеще – сладкозвучный? Не притушёвывает ли (вольнo-невольно?) румянец охровый зари в полнеба, когда кладёт на мольберт именно такую краску, размешивает её именно с белой, либо разбавляет лимонным цветом, успокаивая себя тем, что невозможно один к одному, идеально передать естественный – закатный, обманываясь сам и вводя в заблуждение (мягко сказано) других – дескать, видит её, красотищу эту вечернюю, именно в охровых, не в иных каких тонах?

А человеческие судьбы?! Вымышленные, взятые словно напрокат у живых, разных! людей! Непредсказуемая, странная комбинация встреч, разлук, рождений, смертоубийств! Характеры?! Ведь, что ни говори, но разложить по полочкам личность, сделать эдакий спектральный анализ души, которая в потёмках – невымыслимо!!! Тысячи толстенных томов не хватит для того, чтобы *переписать* с Человека, перенести с Человека на бумагу нюансы, оттенки, движения и омуты глубинные, *человеческие* же!! Всё подсознательное и впитанное с молоком матери, наносное и образовавшееся в результате непредсказуемо-хаотичных, до нелепости диких подчас внутренних смещений, сопряжений, разломов в личности, в натуре его!.. Омуты, да – но и звёзды, грязь бездорожий – и причалы, занудства, ересь, стихи, утопии, ханжество, меркантильность, толстокожий эгоизм и трепет нумизмата... какое там – восторг первооткрывателя!.. И Бог весть что ещё...

...определяющее судьбу.

Наверно, рано или поздно каждый Художник задаёт себе далеко не праздные вопросы: не самообольщаюсь ли я на протяжении долгих лет созидательной жизни? не занижал ли перед собой (за неИмением-неУмением!) творческую планку? не обманулся ли по большому счёту?

Мысли подобные, да и другие, то сумбурные, то последовательные, не раз и прежде посещали Сергея Павловича Бородина, однако лишь сейчас обрушились на него с беспощадством, с разящей в самое сердце какой-то провидческой ясностью. «Кто я и что я? – думал исполнитель. – Тень, пусть и одухотворённая, но тень Зодчих Звуков? Передаточное звено? За что получил признание слушателей, если сейчас вот казню себя? Для кого исполнял? Чья оценка была мне дороже – людей, которые рукоплещут, украдкой вытирают слёзы, смеются над шутивыми гротесками Дебюсси, улыбаются игривым пассажирам в непринуждённых, лёгких пьесках или – критиков, других маститых коллег, музыкантов? А может, – моя собственная? Всё вместе?! Но тогда чего же больше в этом удивительном симбиозе? И почему вопросы безответные вдруг разбередили душу? Гм, теперь уже поздно что-либо менять, поздно, увы! но я хочу, хочу разобраться, понять, ну, хоть ты убей, хочу...»

Размышляя примерно так, он ни на минуту не забывал о Глазове. «Глазову удалось подняться над смертными. Анатолий Фёдорович сумел гармонией, музыкой своей доказать самодостаточность, непреходящую красоту и жертвенность Искусства, творимого им. В нотах и в камне воплотил Чёрное и Белое!.. В камне и в нотах... Вряд ли он, с большой буквы Созидатель, задавался вопросом, какая сила подвигала его на акт творения! Судя по «РЕКВИЕМУ» и особенно по «ЗЕМНОЙ», вряд ли... В этих вещах всё: дух и мудрость ратоборцев, святость и нежность наиродимейших душ... Его исполнять – значит, самому становиться таким же. Становиться вровень – выше нельзя! Немыслимо и представить, что можно – выше... А я? Что сумел, что не смог? Глазовская бездна всосала меня, поглотила всё моё без остатка! Я выдохся, вышел весь, сошёл на нет! Как в расход! Почему можно сотни раз перечитывать «КАРАМАЗОВЫХ» и открывать там что-то новое? Открывать, не будучи критиком, «ведом» по Достоевскому – являясь простым смертным, обыкновеннейшим человеком?! Почему, глядя на полотна русских передвижников, всякий раз находишь что-то прежде не замеченное – в цвете, в штрихе, в позе, в фоне – на фоне! во взгляде, в выражении глаз?! Значит, подлинное

искусство неисчерпаемо, как атом, как душа человеческая! Ибо здесь прослеживается некая сакральная взаимосвязь... Но я-то больше ничего не могу добавить к тому, что прежде щедро выдавал на-гора, исполняя его произведения, шлифуя куски, части «ЗЕМНОЙ», вкладывая всего себя в его музыку, умножая её и его силу!.. И повинен в этом не он, не Глазов – я сам. Я обрёл себя на творческую кончину до срока. Не просто безмерно устал, но отвратительно распорядился своей жизнью... Сделал, возможно, когда-то не тот выбор... Теперь, здесь, наедине с роялем, могу признаться в этом, так сказать, горько проконстатировать сей непреложный факт!! Творческий инфаркт!! вот что случилось со мною! А все эти регалии, звания, награды – чушь собачья! Люди, в большинстве своём, не очень требовательны, мало подготовлены к восприятию истинных шедевров, с трудом отличают шедевры эти от просто хороших вещей, от замечательных вещей... Мурашки по коже, слёзы на глазах – этого всё-таки мало для того, чтобы оценить по достоинству то или иное произведение искусства! Не говоря уже о его стоимости... продажной, рыночной!! Пусть так, если я прав... Но рассчитывать на это в канун, считай, премьерного исполнения «ЗЕМНОЙ СОНАТЫ» – нельзя! Тогда что делать мне, делать сейчас? Нажимать на клавиши с такими мыслями нельзя... Нельзя... Даже если мне, так называемому авторитету, мэтру, столпу исполнительского искусства, и доверят... позволят концерттировать с «ЗЕМНОЙ», то ведь самого себя я не обману! Только продлю свою агонию. И выйду в тираж.

Бородин опять поднялся, принялся по новой мерить шагами сцену... Остановился... Что-то нехорошее прошелестело в стоячем воздухе огромного зала – будто тёмное крылище сделало взмах непрошенный... судорожный... исчезло, оставив под сводами некий призрачный сгусток – *предчувствие конца*... Исчезло, да, но не унесло с собой прочь ломоту сердечную, не унесло. Бородин расстегнул ворот рубашки, помассировал грудь слева – вроде бы отпустило. Но предчувствие, его, Сергея Павловича Бородина недоброе *предчувствие* – представить сложно! – продолжало между тем собственную, независимую от воли хозяина жизнь под потолком, расписанным великим мастером прошлого, – жизнь в форме аморфного, расплывчатого пятна? не пятна? поскольку невидимым было, хотя (мыслимо ли такое?) и слабо мерцало, испускало неприятные, фиолетово-едкие, горькие лучи, которые просвечивают, пронзают и плоть, и нечто более важное в человеке, которые достают до сердца и тут уже не поможет массаж, бессилён валидол – всё это будет бедняге, как мёртвому припарки!

Не успело отпустить, только полегчало малость, и снова заныло, словно кто облил горячим киселём... киселём! И не просто заныло в груди, а прямо спасу нет, хоть кричи «караул!» Барахтается, тонет, даёт сбой за сбоем сердце, щемит, выкальвает сознание... душу, вязнет окончательно в тягучей, липкой массе... Холодный пот прошиб Сергея Павловича. Стало худо, дурно. Хватая ртом воздух, слепо расставив руки, едва добрёл до рояля и обессиленно всё же не рухнул – присел на кончик стула. Руки свисали плетью, пальцы однако же не инстинктивно, а повинаясь сознанию человека, вцепились в полированное дерево... Понимал Бородин: свалится – без посторонней помощи не встанет. Наверно, оттого они, музыкальные(!) не дрожали мелкой дрожью, а в очередной раз выполняли волю хозяина. Несли ему службу. Зато по спине жирно, зябко, противно пробежала струйка, остановилась у брючного пояса, расплзлась... Не так ли начинает вытекать и скапливаться, перед тем как растянуться вдоль и вширь, кровь из раны?

Губы пересохли, мучительно, нестерпимо захотелось пить... Облизывай, не облизывай их – без толку! «Что-то я расклеился!» – он усмехнулся. Усилием воли приподнял руки на уровень клавиатуры, коснулся пальцами матово-белой пластмассы («из чего они – из дерева... пластмассы??») и сразу почувствовал облегчение, будто рояль впитал в нутро струнное боль человека, дабы тот получил передышку... А зачем?!

Говорят, перед смертью каждый из нас вспоминает былое – и не просто пассивно, кадр за кадром, а заново, с обострённой тоской и мудростью переживает ещё раз своё прошлое, при-

чём, делает это невообразимо быстро, часто подспудно, безотчётно, находясь в особом душевном состоянии, в той мистической почти плоскости, которая необычным образом пересекает и Бессмертие, и Небытие, являя уходящему человеку прозрение, беспокой-покой, лики... голоса... Свежо предание! Откуда знаем мы, что следующего мгновения для нас уже не будет? что этот, *этот* наш вдох – последний и что уже никогда не скажем «никогда»?!. Пока человек живёт, дышит, осознаёт собственное «Я», – он надеется, он мыслит самыми естественными категориями живых, инстинктивно отталкивая, отодвигая неизбежное – Порог, за которым не воспринимаемая Пустота... Человек борется. В страшном, скрытом от глаз посторонних поединке ему недосуг, нельзя растекаться мыслями по дереву, блукать в призрачных фата-морганах... Жить! Жить!! ЖИТЬ, чтобы ещё раз приласкать доверчивого несмышлёныша-внука, заглянуть в родниковые глазёнки родимые, погладить лопнувшую бересту белоствольную, хвоей не надышаться, солнечный зайчик палевый уловить-углядеть сквозь тюлевую...

Говорят, перед смертью... Но кто сказал, что Сергей Павлович умирает? Подумаешь, прихватило сердце. Сейчас, сейчас... – не пройдёт и десяти, пятнадцати минуточек и он будет в форме, он ещё заиграет – свежо, молодо, экспрессивно. Кажется, во второй части, где двойное форте, он *осторожничал* – следует быть более раскованным, даже рискованным[^]), да да... исполнителю, каждому, хорошо знаком неписанный закон: подай авторскую музыку так, чтобы стать соавтором её, чтобы продолжить и развить заложенные композитором чувства, идеи. Сергей Павлович не думал умирать! Совладал наконец с сердцем заупрямившимся и теперь, сутулясь, отдыхал, настраивался... привычно представляя себя неким приложением к огромному роялю, приложением, без которого оба мертвы... Тьфу ты, опять это слово! Всё вертится, вертится – если не на языке, то в воздухе где-то и мешает, не даёт полностью сосредоточиться на главном. А оно заключается в том, что, если не лгать самому себе, то исполнять «ЗЕМНУЮ» сейчас ему совершенно не хочется: какие-то связи, нити всё-таки оборвались внутри и оборвались много раньше... В данный же момент усилилось ощущение безнадежности, обречённости: соединить разошедшиеся концы не удастся. Никогда.

Если бы случайно кто-нибудь понаблюдал за ним, то увидел: человеку неможется, человек ходит, хватается за грудь, тщетно массируя левую сторону, он то тяжело опустится на стул, то неловко встанет, чтобы, пошатываясь, бродить взад-вперёд, рискуя свалиться в оркестровую яму, убится... Человек нелепо держится за воздух, ищет ли опору в пустоте вокруг себя, словно готовясь в пустоту эту шагнуть, перейти, но не решаясь, не решившись ещё, а может, наоборот, отталкивает прочь это чуждое пространство, боясь, что оно засосёт его... Протягивает руки, молит губами... Человек умирает так же, как и живёт, поскольку умирает *живым*. Умирание – не лучшая ли иллюстрация, эдакое клише, даже – логотип всего того, что есмь ЧЕЛОВЕК. Размахивает руками, цепляясь за что-то – эфемерное, временное; его мотаает напра-налево, бедняга не ведает, куда идти, к чему стремиться, не в состоянии сделать единственно правильный выбор; он надеется, постоянно надеется на помощь абстрактную свыше, потому что родные, близкие, просто окружающие никогда не дадут ему *главного*, ибо не знают, что *гявное*\

Да, стороннему наблюдателю многое бы прояснилось в поведении Сергея Павловича Бородина и уж наверняка сторонний наблюдатель, не раздумывая долго, вызвал бы «скорую». Увы, в огромном зале нового здания филармонии Бородин находился абсолютно один. Да и в целом здании в минуты эти присутствовали всего лишь несколько штатных сотрудников из числа обслуживающего персонала и все они заняты были своими делами, не подозревали, что музыканту стало плохо, что он не просто физически отрешается от сущего в мире перед тем, как заиграть, не просто размышляет об особенностях «ЗЕМНОЙ СОНАТЫ» – ну, молчит, и молчит себе, значит, так нужно, значит вживается в ткань гениального произведения и тишина способствует *настраиванию* внутренних струн души на должный лад, на вдохновенное исполнение, тишина – вроде камертона... – словом, не просто подготавливает себя к чему-то

большому, значительному, но отчаянно борется с подступающей вплотную смертью. Борется из последних сил...

Впрочем, кто знает, вдруг он действительно *подготавливает* себя к переходу в непознанное измерение, угасающим сознанием радуется, что не в постели и не в окружении белых халатов и пилюль, а здесь, на сцене, завершает земную *недолгу* свою...

За высокими узкими окнами порхал тополиный снежок. Медленно, покойно. Обострённым зрением Сергей Павлович выхватил из сплошного роя одну пушинку, проследил за последним полётом её – падала, падала, приближаясь к нему, пока не коснулась стекла... на мгновение замерла, словно прилипнув к прозрачности стоячей, изумившись преграде, после чего продолжила теперь уже скольжение вниз, напоминая раненую белокрылую бабочку (такие существуют?) или потухшую звёздочку... И чем ниже к земле опускалась кроха неснежинная та, тем гуще, плотнее становилась тишина в концертном зале, пока умозрительно не сжалась, не схлопнулась телесная почти немота в кокон чёрный, заключивший в себя плоть и дух Бородина – сплошной чернизиный комище тот явил всё: что было, что есть, а также то, чего никогда не станет, не произойдёт – для узника внутри! Вспыхнула прощально во мраке стоячем таком же порошинка тополевая, подчеркнула бессветность: зга згою! Вздрогнул Сергей Павлович... Навалился грудью на клавиатуру, уткнулся в пластинки и родные, и неродные – прощальную какофонию, абракадабру издал инструмент.

Последний звук!

Осиротел рояль! Будто отдал душу свою...

А может, звук этот, утробный, измятый, мучительный, суть истинная душа Исполнителя – придавленная, тягучая, рыдающая, вместившая Судьбу и Суд??

...а может, звук тот стал ответом на мольбу-вопрос далёкий, далёкий и родной: «КЕМ ЖЕ ТЫ БУДЕШЬ, СЕРЕНЬКИЙ МОЙ!...»

Осиротел мир!..

Но почему корень слова *судьба* – *суд*?!

Мы судим? Нас судят?

Не судите, да не судимы будете??

Таки нет... Продолжаем денно и ночью выносить приговоры, совершенно игнорируя тех, кто приговаривает в ответ нас самих. Суд суду – рознь? Осуждая других (где суд, там и неправда!), загодя запасаемся нахрапистости, чтобы, когда придёт срок, выдержать суд собственной совести, который страшнее мистического Божьего, не говоря уже о так называемом... – ах, не всё ли равно! Разве во фразеологии дело? Без суда не казнят. Казнь – апофеоз! А покаяние – приговор, помилование вечное? Что-то среднее, *чистилищное*? и не привыкаем ли мы к словам, пусть и самым беспощадным, равно и самым прекрасным?!

2

...Сергей Павлович Бородин держал в руках нотные листы с текстом «ЗЕМНОЙ СОНАТЫ», принадлежащим одному из величайших в плеяде великих (так он, Бородин, решил для себя давно!) композиторов – Анатолию Фёдоровичу Глазову. Пробегая взором («Клавир, партитура?? – он никак не мог определиться с названием рукописи – Здесь не просто соната!») главным образом канву, *тему*, испытывал смешанное, сложное чувство, в котором соединились изумление, страх, потрясение, раздвоение собственной личности... «Гениально! колоссально!!» – вышлёпывал внутренний голос и тотчас эхом своеобразным отдавалось: «неужели мне, мне! предстоит исполнять *такое*???»

Музыка, читаемая, бросала его в дрожь. Заставляла заново пережить прошлое и окунуться... в грядущее. Это было всеобъемлющее *сказание* о... несказанном, о невыразимом – попытка заново осмыслить вся и всё на свете... История Родины перекликалась с конкретной

судьбой личности, личности то узнаваемой, типичной, то совершенно незнакомой и необычайной, противоречивой донельзя, глубочайшей до бесконечности... а выше и ещё глубиннее названных ипостасей, пластов, миров представлены были, обозначались такие вселенные, такие сущностные параллели, взаимосвязи, самое упоминание о которых не может не бросить... да, в дрожь!.. Переплетения, переходы, переключки, на первый взгляд, ничего общего между собой не имеющих чувств, разнотональностей, с одной стороны, и глобальный, понижающий, вполне очевидный рефрен – с другой... «Содержимое» каждого если не такта, то каждой нотной линии, не говоря уже о нотации, заключённой в рамках акколад³, вызывали в душе острое сопереживание, как бы конструировали проекцию на собственное... эго...

Жизнь свою он чаще проклинал, счастливым себя не считал и хотя причастен был к искусству, однако полагал: ничего особенного за пятьдесят девять лет и пятьдесят восемь зим, прожитых им, не совершил. Ну, концертировал, ну, добился широкого признания в музыкальных кругах – и что дальше? Ведь не зря гложет совесть: значит, на потом оставлял крохи, крупички Богом данного, не в полную меру возможностей ума, сердца, таланта, жил, словно опасаясь того дня в будущем, когда выдохнется, сойдёт на нет и покинет сцену под улюлюканье злорадствующих критиканов и жиденькие, в основном за прошлые достижения, рукоплескания слушателей. (А может, интуитивно предчувствовал появление на свет «ЗЕМНОЙ СОНАТЫ» и оставлял про запас не восполняемые силы души?!) Но почему поступал так? Не расходовал щедро дар свой? А кто сказал, что не расходовал? Человеку, скорее всего, вообще свойственно быть недовольным собой и недовольство оно делает личность более пытливей, ищущей, строптивой. И не в том, самом последнем, «прости» – суть! Всегда птахами загнанными бьются в каждом из нас высокая мечта, негасимая надежда, апостольская вера... – слова-то какие! И сколь много общего, объединяющего в понятиях приведённых! Именно *всё* впереди, есть зачем жить, к чему стремиться, на что уповать... Ну, не получилось, не смог, не добился – так ведь впереди целая вечность!.. Надо только внести коррективы, сделать правильный выбор – оседлать свой вектор!!

Стоп. А ещё нужно остановиться и оглянуться. И тогда с ужасающей ясностью поймёшь ты, живущий, что всё это иллюзии, самообольщения твои, ложь во спасение... Ты – ноль. Ничего не сумел, ну, почти ничего и всё-то про исключительность свою выдумал. Поскольку закрывал глаза на правду, вечно оставлял себя в себе, правильно – «на потом». Как на чёрный день. Под любыми предложениями! Искал оправдания, вместо беззаветного служения Музе, вместо того, чтобы реализовывать неисчерпаемость, бездонность свою. Ждал, видите ли, вдохновения! Уставал от быта, от пятого-десятого... Когда же так называемый чёрный день приходит – поздно что-либо переиначивать, изменять. Остаётся одно: принять терновый венец...

...а перед этим крепко задуматься о смысле жизни, о необратимости и... несовершенстве её. В твоём, по крайней мере, *исполниши!*

Исполнить свою жизнь во сто крат сложнее и мучительнее, чем исполнить величайшее музыкальное произведение! Жизнь – категория базисная. Однако настройки частенько влияют соответствующим (или не соответствующим!) образом на этот базис. Иногда даётся шанс и упустить возможность сию – грех. Но как распознать этот шанс?

...Итак, Сергей Павлович Бородин держал в руках нотные листы с текстом «ЗЕМНОЙ СОНАТЫ» Анатолия Глазова.

То была история историй, звукописание, поскольку судьба Героя динамично прослеживалась с первого до последнего такта. Подобно жимолости, обвивающей плетень, в эпохальной саге для рояля переплелись, как принято выражаться, ярко, зримо, рельефно(!) почти характеры, души соотечественников, имяреков независимых, гордых, рвущихся соборно и порознь к звёздам... Переплелись также и страсти их плюс мудрые, веками выверенные и отшлифован-

³ Акколада – скобка, соединяющая две или несколько систем нотных линий

ные думы – по размаху народные, по накалу героические с оттенками драматического и романтического сразу. Ноточкой каждой, знаком иным провозглашалась и доказывалась непреложная истина: человек – венец природы и долг человека осмыслить её, стать инструментом созидания для совершенствования, эволюции и прогресса на качественно более высокой ступени. И пусть в человеке борются полярные, часто несовместимые (однако и совмещённые!) начала, он пройдёт предназначенный путь и станет тем, кем ему предназначено стать, а предназначение это он будет постигать, пока бьётся пульс цивилизации земной – единое сердце землян! Ярчайшим примером поступательного движения на вершину гармонии духовного и плотского служит опыт Ленинской Руси, которая явилась для большинства людей огромным данковским сердцем, чей удар первый невозможен был без исторического залпа «АВРОРЫ» в 1917 году. Собственно говоря, музыкой утверждался лейтмотив величественной исторической спирали: всё вернётся на круги своя!

Сонатой произведение это назвать было, конечно, нельзя, ибо по форме, содержанию эпическому, уникальности в смысле полифоническом оно далеко выходило за означенные рамки, ибо заложена здесь была и реализована новаторская возможность расписать, оранжировать смежные, нескончаемые темы, голоса, по размерам, масштабам своим и целому ряду других, только специалисту понятных, признаков, нюансов... темы и голоса, претендующие на лидерство в общем ансамбле – так вот, совокупностью названных выше особенностей и характеристик творение Глазовское больше походило на остов, каркас грандиознейшей симфонии... на кантату, как минимум, а вообще-то и вовсе на нечто невиданное и неслыханное досель из всего созданного для клавира!

Бородин прекрасно знал Глазовский «РЕКВИЕМ», неоднократно исполнял величавую, скорбно-торжественную музыку Анатолия Фёдоровича, коей предшествовали «ПРЕДТЕЧИ» – цикл самостоятельных пьес; часть из них впоследствии вошла в «РЕКВИЕМ», получила там своё развитие, второе дыхание... сцементировала его, остальные продолжили самостоятельное плавание по безбрежным просторам слушательских сердец, как прорыв творческого гения, духа человеческого за горизонты возможного, за пределы понимания... И сейчас, держа в руках *взволнованных* листы с нотами «ЗЕМНОЙ», Сергей Павлович невольно вспоминал давнишний свой разговор с известным поэтом. Тот сетовал: после каждого удачного, сильного стихотворения в душе автора борются два противоположных и абсолютно несовместимых чувства. С одной стороны, на волне вдохновения, с искоркой Божьей в груди хочется тотчас же читать людям строки новые, а главное – писать, писать, создавать ещё и ещё, при этом часто жестикулируя, смеясь и плача, нашёптывая слова и уносясь в светлые горные, Фаворские... однако, со стороны другой – вползает холодком непрощенным трезвое осознание... и не осознание даже – страх от того, что *это* его творение суть лебединая песнь, что *последнее* оно, потому что вряд ли сможет он превзойти себя, найти-таки ресурсы в душе и повторить неповторимое. Конечно, проходят часы, дни, иногда и годы – рождается из-под пера очередной рифмованный, либо не рифмованный, «белостишный» «чистейшей прелести чистейший образец»(!), ведь подлинное искусство несметно и бессмертно!.. Только ощущение исписанности, обречённости на грядущий творческий недуг, коллапс, ощущение *последнего* слова (не в скорбном, не в траурном значении – и то хорошо!), увы, возвращается также, по спирали, возникает тенью... Почему? Случайно ли пришли на ум Сергею Павловичу грустные откровения литератора? Потерев лоб, сам же и ответил: конечно, не случайно. После «РЕКВИЕМА» только промыслом высшим стало мыслимым вымахать этакое звукосогласие личности, существоземного, Гармонии!! Причём, личности неординарной, многосложной, неизведанной, хотя и предстаёт в ней, выкристаллизовывается эпоха рода людского на планете. Сколько воли, веры, веры! нужно было иметь, чтобы начать и завершить сей титанический, монументальный труд. Бородин вспомнил, мимоходом, как отдельные критические лужёные глотки орали, тьякали: дескать, «РЕКВИЕМ» – это вершина, случайная в творческой судьбе Глазова, что после «РЕК-

ВИЕМА» он замолчит надолго, навсегда. И особенно выделялся в хоре недоброжелателей некто Рубан, в бытность свою сокурник Анатолия Фёдоровича... «Глазову и без того крупно и незаслуженно повезло... Надо ещё разобраться, организовать специальную комиссию, чтобы выявить истинного автора столь значительного музыкального произведения...» Ан, нет! Нет!! Из недр души, из всей жизни своей родил композитор на свет и на суд тот «РЕКВИЕМ». Пусть правда и колола кое-кому глаза, но отступничества не ведает она. Правда сама себя очистит. И очистила... Теперь вот – «ЗЕМНАЯ». «ЗЕМНАЯ СОНАТА» – и тоже из недр души, из всей жизни собственной родил он, Глазов, на свет и суд новое творение своё, подхватил незримую перчатку самого Людвига ван...

...За окном комнаты, где находился исполнитель, мягко и сочно цвёл погожий летний денёк. Всё в нём – обычно и необыкновенно. *Необыкновенно*, поскольку в руках Бородина трепетали белоснежные крылья нотных листков и как бы готовы были, находились в преддверии того, чтобы отряхнуть с пёрышек своих невероятные звуки... Настало время сказать, что бесценную бандероль получил он сегодня утром, почтой. Тут же была и приписка небольшая: «Знаю Вас, уважаемый Сергей Павлович, как самобытного, глубоко русского по духу, одержимого, бесконечно многогранного и темпераментного Музыканта, исполнителя сложнейших произведений. Потому лично прошу первым ознакомиться с этим новым трудом моим и, по возможности, донести до широкого слушателя «плоды ночных бдений». Верю в Вас, не сомневаюсь: правильно прочтёте текст и то, что стоит за ним. С признательностью и ожиданием Вашего поиска, Глазов». Необыкновенно, да... И – *обычно*, поскольку всё даже очень странное, непредсказуемое, однако, вполне вписывается в более широкие рамки человеческого бытия: здесь срабатывают свои законы. Важно только быть готовым принять и новизну любую, как данность. Признаемся, что далеко не всякий способен на такое.

Бородин присел на краешек дивана, задумался... Просмотрев бегло ноты, он пережил самые светлые минуты в жизни, подлинное потрясение, если не сказать больше – был раздавлен мощью, духом гения, сотворившего столь величественное музыкальное полотно – музыкальную диораму, если применить смежную, из живописи, терминологию, и ещё более значительное, колоссальное... Ему стало вдвойне страшно: страшно браться за работу над «ЗЕМНОЙ» и... страшно, ужасно хотелось тотчас, немедля наброситься на кабинетный рояль в светлом углу и начать наигрывать, наигрывать, пусть правой рукой, отдельные мелодии, темы, погружаясь в мир сказочного, неизведанного, фантастического – именно так представлял себе Счастье!.. Наверно, подобное испытывает кладоискатель или тот, кто готов с головой ринуться в омут... с обрыва...

В тисках противоречивых, прекрасных страхов этих, причём, второе чувство назвать страхом следовало бы чисто условно, Сергей Павлович испытал, почти не ведая, не сознавая, ощущения, близкие к тем, которые досужие умы называют вторым рождением... *сбрасыванием кожи*... Понял: всё предыдущее было одной лишь ступенькой, подготовкой к грядущему моменту истины. Судьба предоставляла ему шанс... нет, не войти в историю, не превзойти себя, не заполучить в руки уникальную панацею от душевных мук, разломов и раздоров... – просто *такое* бывает раз в тысячу лет с кем-то *избранным* и этот счастливчик – он, он, Бородин Сергей Павлович, становящийся отныне миссионером не от мира сего...

Взглянув в окно, заполненное светом июня, решительно шагнул к белому роялю, откинул крышки... Да, его ждут гастролы, встречи... Но... Быстрым, нервическим движением установил на пюпитр верхние листы из довольно толстой кипы, увесистой кипы, многоопытно, изучающе посмотрел на испещрённый магическими письменами (пронзило: рунами священными!) самый первый лист – сколько таких нотоносцев стояло перед ним! – потом одной правой рукой начал играть...

...не играть – отдаваться музыке. Его словно всасывала огромная, незримая воронка. Сначала медленно, затем всё стремительнее, до головокружения, падал-погружался в бездну –

и замирало сердце, сковывало дух... и не хотелось конца этому полёту, с которым не сравнится ничто, даже реяние надмирное тургеневского героя в объятиях непостижимой Эллис.

Вокруг дивно разворачивались неопишуемые, феерические, упоительные калейдоскопы – расцветали темы, вспыхивали, переживались кружева многоголосий, возникала, чтобы сей же миг исчезнуть, легчайшая рябь стаккато, кругами по воде разбегались от незримых эпицентров словно органные волны арпеджио на правой педали... И всё это прекрасное здание звуков зиждилось на ровном, строгом пульсе органично вплетённой в общую ткань канвы – нитью Ариадны скользила-сквозила она, соединяя такие непохожие зачастую берега, нанизывала на себя аккорды, множила аккомпанементы, вела нескончаемый диалог через него, исполнителя, со слушателями. Что-то механическое и вместе с тем трепетное, живое, одухотворённое было заключено в стержневой её, канвы той, мысли – наверно, так сами себя отсчитывают минуты, секунды, приближая роковое, страшное, неподвластное воле и разуму, что грядёт Армагеддонном обещанным... А может, наоборот, будущее, какое бы оно ни было, всегда притягивает, но – парадокс! – притягивает, именно отталкивая неотвратимостью свою? На миг кратчайший возникло в Бородине искушение отбросить прочь первые листы и нырнуть глубже в «ЗЕМНУЮ» – наверняка там, дальше, встретится он с неизбежным и завершится кажущийся бесконечным тягучий подъём в бездну, истаёт в отзвучавших лучах раструб призрачный из всеядных воспоминаний, умерших и воскресших образов, странных ассоциаций, приголубленного эха далёко-близких голосов, неразгаданных тайнств, тайн... и лицом к лицу столкнутся Посвящённый и истинная Суть. Однако он сумел обуздать естественный порыв, сдержался, подумав «Каким же гением надо обладать, чтобы возвысить дух человеческий из недр сознания, инстинктов до...»

Да, сонатой шедевр глазовский никак нельзя было назвать. Просто само произведение именовалось так – «ЗЕМНАЯ СОНАТА». Здесь было четыре части. Четыре глыбы! Четыре Атлантиды, найденных в пучине вселенского бытия... Повторюсь, не грех: десятки тем и каждая по праву могла бы стать первоосновой для целой симфонии, оратории либо краеугольным камнем в любом из чисто камерных жанров – будь то вокализ, скерцо, этюд, прелюдия, настолько насыщено, плотно, лаконично легли звенящие даже на пианиссимо семь цветов радужного звукоряда: до, ре, ми, фа, соль, ля, си... («По ступенькам поднимись, вспомнилось случайно... си, ля, соль, фа, ми, ре, до – и обратно вниз спустись!») Сквозь все эти россыпи проторённо, тревожно, нервно бился огромным сердцем пульс надтемы – канвы. Позывные его пронзали время, пространство, уносились безоглядно в дали взакрайние, отражённо возвращались, напоминая о Главном, нащупывая Главное и обнажая подходы, предтечи, причины причин... и не пропадая в ослепительной мгле встречных веков! Несколько минут... полчаса пролетели фантастической феерией, сном наяву. Наконец, приложив немалое волевое усилие, он оторвался от нотыноса и клавиатуры. Былые противоречивые страхи улетучились, сменились восторгом, завистью белой, наконец, некоторым разочарованием в собственной судьбе – последнее стало исподтишка, но злобно, яро подтачивать, глодать, грызть душу. Ах, если бы, если бы!..

Раздумчиво встал, отбросил прочь смуту, обложившую со всех сторон... Сделал несколько шагов медленных, нерешительных, к окну – и не к окну вовсе, а в прошлое, в те времена, когда всё только-только начиналось, казалось прекрасно розовым, голубым, сверкающе легкокрылым... Ах, если бы, если бы!.. Он будто хотел что-то там подправить, изменить, переиначить... Или ему так представлялось, ведь «ЗЕМНАЯ» и была...

...«ЗЕМНАЯ» – оправдание его! – поразила вдруг молниеподобная мысль – И ЕГО!! И... ЕГО!!! Не только Глазова...

...сам же продолжал двигаться по направлению к окну. В глаза бил яркий луч, единоличный! московского летнего полдня. Свет жгучий заставил не просто зажмуриться – остановиться. Что, ЧТО?! именно сможет он, Бородин, переделать в лучезарном всегда детстве, в

детстве нежном, цветущем, светлом? И поможет ли это ему, даже если (ах, если бы-если бы!..) совершится чудо, случится невозможное?

Уткнулся лбом в прозрачную тонкость стекла, остудил чувства. Ощутил себя... Оторванность, заброшенность и беспомощность почувствовал было в потоках вихревых судьбы, но... но потрясающая глазовская музыка продолжала звучать гордо в груди, музыка вызывала на спор, на бой во имя высшей правды, сокрушала внутренние миры исполнителя каскадами ответных эмоций, вал за валом победительных гимнов... Вдруг страшно захотелось ему, чтобы не было перед ним этой невидимой вертикальной преграды, чтобы сюда, в его гостиную, напрямую вливались волны бушующего человеческого моря и – вот оно, самое-самое – чтобы обלי-стали живые волны те скалу – «нерукотворную» (усмехнувшись, простил себе плагиат невольный...), чтобы разделили с ним счастье первооткрывателя... Пока-то он изучит, отработает текст, неоднократно прорепетирует исполнение, договорится о показательном выступлении, о генеральной репетиции, пока-то сверху назначат дату, скажем так, премьерного концерта – а хочется сейчас же, немедленно подарить слушателям диво дивное, этот несказанный сноп сияющих звуков, пусть люди станут ещё богаче, счастливее...

Распахнул настежь створки. В комнату ворвалась Москва – её душа, её говор, её многоликий взгляд. Почудилось: столица сегодня немного другая, она словно бы подслушала отдельные фрагменты, куски из «ЗЕМНОЙ», наигранные в экстазе первопроходца им... – подслушала и замерла в предвосхищении обновления.

А потом Сергей Павлович вновь отошёл от окна.

Солнце стояло высоко в небе, выше, наверно, некуда, и опаляло синеву, мирный город, его, Бородину, со спины. Исполнитель проклял вдруг обыденность, повторяемость, одноитожность: лето, свет-дождь, машины, гудки, провода, голуби... Как всё просто! Облака плывут, волны разбиваются о гранитные утёсы, пальмы отбрасывают длинные ажурные тени, дети ходят в школу... Как скучно! Ему стало опять немножечко не по себе от мысли, которая, помнится, впервые посетила его ещё на заре жизни: разве же можно так?! Разве можно, чтобы всё шло по кругу, замкнутому, чтобы никогда ничего не менялось в заведённом порядке вещей, чтобы даже гигантские катаклизмы, апокалипсисы в принципе были вполне предсказуемы и закономерны, и неизменны: стихийные бедствия, войны, голодомор? Действительно, скучно. Страшно и скучно. Тогда, в юности, он ужаснулся: подавляющее большинство имярек, по сути, не живёт, а существует на свете белом – занимается времяпрепровождением!

Утром встать, совершить положенный туалет, позавтракать, потом – работа, учёба, служба... далее – обед, короткий отдых, снова активная физическая и умственная деятельность, наконец – возвращение домой, в семью или в холостяцкий приют свой, ужин, отдых, сон... А на следующее утро – то же самое. До бесконечности. Под одним и тем же солнцем, под одной и той же луною! С ума сойти! И лишь считанные единицы испытывают ни с чем не сравнимый экстаз вдохновения, переживают чувство, что день сегодняшний принёс новый стих, новый мазок на холсте, что ты, человек, *сотворил* на века нечто прекрасное, что ты – не как все остальные, пусть даже и очень близкие, родные тебе, но только несчастнее, беднее, ибо не дано им созидать в искусстве ли, в науке... в спорте!

Сейчас, ознакомившись вкратце, поверхностно с «ЗЕМНОЙ», он впервые ощутил себя на месте тех простых смертных, по-над которыми невольно, того не желая, самовозвышался, которых жалел за их человеческую обыкновенность, совершенную *невиделяемость* из общей массы (и серость, ограниченность – добавлял в уме, понимая: думать так неприлично, просто отвратительно!) Да, сейчас, беспорядочно вышагивая от окна к роялю и обратно, он глубоко, глубинно проникся той, из юных лет, мыслью, прежде так и не задвинутой им куда подальше и некогда ставшей порождением его внимательных наблюдений за окружающими людьми. И вдруг задрожал: какое он имел право судить их, ведь не так уж далеко отстоит от соотечественников, ординарный во всём, а на фоне глазовской личности, глазовской музыки просто тля,

букашечка невзрачная! И ежели возьмётся за этот труд, за это эпическое, новаторское по форме и содержанию музыкальное произведение, если взвалит на плечи сей крест, то лишь для того, чтобы осудить былую заносчивость свою, мнительность, фанфаронство собственного «Я». Вот – главное. Вот – вывод, урок наипервейший. По горячим, так сказать, следам, по прочтении *начальном* и неполном. Стоп! – сказал вслух. Опять не то. Не ради себя, нравственных своих подвигов и достижений примется он за СОНАТУ и передачу её слушателям. Конечно, нет! Бородин сразу успокоился. Уверенность вливалась в грудь. Всё встало на заказанные места. Лучше позже, чем никогда. Да, никогда. Никогда он не будет заноситься. И время покажет: прав ли был Глазов, отдав «ЗЕМНУЮ СОНАТУ» ему. А может, отказаться? Вернуть?! Не смогу!!! Спасибо, но...

И всё же...

...как запутанно, сложно и, действительно, гениально просто в мире!

В какой-то момент он принялся вспоминать собственную жизнь, сравнивать её с судьбой Композитора – почти фантастической, нереальной, похожей на живую легенду. И – судить себя. От имени Бога, не иначе, а скорее всего, от лица того нового самого себя, *избранного* Глазовым, каким почувствовал «Я» своё вскоре по ознакомлении первичном, беглом со страницами первыми «ЗЕМНОЙ». Судить себя... Ибо в противном случае творец незаметно превращается в обывателя, довольного всем на свете. Судить, а не критиковать. Судить, втайне надеясь, что многое в его жизни ещё изменится к лучшему. Хотя и отдавая отчёт в том, что такой судьбы, как у Анатолия Фёдоровича, таких потрясений он в отпущенный ему век никогда не испытает. Конечно, бурная, полная впечатляющих событий жизнь вовсе не означает, что конкретная личность станет мудрой, целеустремлённой, сильной, добьётся успехов и свернёт горы на творческом (применительно, опять-таки, к нему, к исполнителю!) пути.

И всё же... «Одним абзацем» если...

Сергей Павлович знал, что в детстве Глазова чуть не забили до смерти и лишь редчайшей силы бурелом спас его, с ним ещё несколько мужиков от мученической гибели под розгами, плетью да шомполами в руках озверевших выродков. Знал, что потом долгое время был Глазов эдакой «игрушкой», реально же – единственным и наиродимейшим другом для дочери миллионера сибирского, первостатейного, который собственное же дитя похотливо развращал. Откуда знал? ведь сам Анатолий Фёдорович отличался и немногословием, и тактом природным... А вот откуда. Довелось как-то Бородину побывать на одном «великосветском» приёме, где, в числе прочих, присутствовал некто Николай Рубан, подвизавшийся на ниве не то музыкальной, не то напрямую связанной с органами государственной цензуры в сфере культурной, более того – с органами чуть ли не безопасности – что здесь преобладало, не поймёшь. Так вот, когда собравшиеся назюзюкались, и кулуарно, перекуривая в биллиардной, о всяком-разном лёгкий трёп завели, кому не лень косточки перемывая, живчик сей поделился «по секрету» информацией небезынтересной, касающейся личности Глазова. Тем более, что Анатолий Фёдорович вызывал у подавляющего большинства людей противоположные чувства, кои подогревались искусно некомпетентностью общей, загадочностью и необъятностью, что ли, фигуры композитора плюс досужими сплетнями, слухами, вымыслом... Но о последнем ниже. Итак, побывав «игрушкой» при дочери миллионера, впоследствии убитого «взбунтовавшимися мужиками» (по выражению того же Рубана), Глазов затем долго носился с идеей какого-то там памятника – предлагал оный в форме гигантского барельефа высечь на одной из сопок – на манер скульптурного, в Соединённых Штатах, увековечения американских президентов и обстоятельством сим не преминули воспользоваться давние недоброжелатели сибиряка, самородка: по телефону беспроводному представили грандиозный замысел этот в невыгодном свете, после чего таковым странным (мягко говоря!), отдающим запахом прозападным, был он доложен Хозяину... (Мы помним, что в столице нашлись и порядочные, трезвые головы, нашедшие проект удачным, что позволило композитору «набрать очки»...) Далее – «антирес-

нее»: завёл Глазов шашни, роман, то бишь, с дочерью репрессированного генерала какого-то московского... Бог ему судья! И не только Бог(!) Вот здесь и пошли сплетни да выдумки, Бородин тогда их мимо ушей пропустил, – что ему до отношений любовных двух тоскующих сердец! Однако краем уха уловил последующие разглагольствования Рубана и таким образом наслышен стал об относительно более поздних годах жизни Глазова, которого оставили в покое по той лишь причине, что не поступило никаких категоричных и жёстких указаний в его адрес сверху... Видимо, что-то в «затее» композитора сибирского вызывало на самом веру и положительные эмоции. Сам же Анатолий Фёдорович стал автором нескольких пьес, названных им «ПРЕДТЕЧАМИ», создал знаменитый на весь белый свет «РЕКВИЕМ», несколько интересных миниатюр. Накануне Великой Отечественной войны приглашён был в Германию, где его принимали с почётом, с уважением люди, относящие себя к музыкальному искусству и принадлежащие к ближайшему окружению главного рупора фашистской пропаганды – Геббельса. Незадолго до поездки памятной оной с официальным визитом там, в третьем Рейхе, побывал советский министр иностранных дел Молотов и подписал в логове врага, в Берлине, акт о ненападении взаимном... Тогда, на волне эйфории непонятной, раздутой активно в известных целях, реализовывалась установка – всячески пресекать панические настроения, могущие по тем или иным причинам возникнуть у населения, в *нужном* свете показывать отношения между СССР и Германией, наконец, учить людей революционной бдительности, чтобы не поддавались они провокационным выходкам со стороны нежелательных *элементов*. На волне всезахлёбывающей веры народной в непогрешимость вождя многим казалось, что война с фашизмом отодвинулась лет на пять-семь, хотя трезвомыслящие головы, истинные патриоты понимали и предостерегали, нередко во вред себе же: столкновения не избежать и столкновения, судя по наглеющим гитлеровцам, скорого. В такой обстановке, многосложной, насыщенной и оптимизмом осторожным, и шапкозакидательством («Воевать будем на территории врага!»), и даже *высокомерным* отношением к стране, захватившей практически Европу! и отбыл Глазов на родину Вагнера, Гейне, Гёте... разумеется, подробностей и деталей не ведаёт никто, подробности событий не так *давно минувших дней* известны одному Анатолию Фёдоровичу, он же не «особливо охоч» (с его, кстати, слов!) откровенничать. Ясно было одно: фашисты показали ему железную мощь и несокрушимость рейха, фанатизм и мистический почти (по образному выражению асов геббельсовской пропаганды) дух Шикльгруббера и при этом попросили Глазова написать Гимн Гитлеровской Германии!! Создали ему прекрасные условия для работы. В Саксонской Швейцарии, посреди живописнейших озёр, венециеобразно соединённых протоками, каналами, на зеленотенистом берегу выделили домик с прислугой из переодетых гестаповцев – твори, гений! Предложили иные – назовём вещи своими именами – интимные развлечения – да осенит, мол, Тебя её величество Муза!! Тебе, Тебе по плечу сверхзадача! От услуг оных, последних, Анатолий Фёдорович решительно отказался (произнося это, Рубан от себя добавил: «якобы»): душа не лежит. Немцы, опытные психологи, не настаивали, не торопили, выделив, правда, в услужение композитору красавицу Гертруду. Единственно что – постарались, насколько возможно было, надёжно изолировать его от внешнего мира, от войны, разразившейся в ночь на 22-е июня 1941-го. Танковые армады Гудериана, воздушные акробаты Геринга саранчесvastiковой лавиной двинулись отовсюду к столице первого в истории человечества государства рабочих и крестьян, а также на север и на юг СССР... Глазов же (тут Рубан опять с неохотцей в голосе добавил «якобы») ничего этого не знал, окружённый заботой, вниманием приставленных к нему «телохранителей» и поварят с Гертрудой. Он отдыхал, работал над какими-то новыми «ПРЕДТЕЧАМИ»... Пока однажды случайно совершенно не увидел наших граждан, захваченных по большей части силой и вывезенных в Германию для выполнения рабских работ и, чего скрывать, медицинских исследований... Произошло это в начале сентября того же 41-го – близился к концу срок, отведённый (предварительно пока, только предварительно] теми, кто «заказал музыку», ибо по плану «БАРБАРОССА» вот-вот

должна была пасть Москва и Гитлер желал услышать величайший из гимнов, находясь на Красной площади города, обречённого им в будущем на затопление... Цинизм, верх самонадеянности и варварства. Но всё враз изменилось. Великан вырвался на свободу, сокрушил охрану, голыми руками заломал невесть сколько эсэсовцев... И – начались его скитания по чужой земле... Гигант рвался на Родину, к линии фронта, по пути освободил небольшую группу военнопленных, которых, словно скотину, гнали на заклание. Несколько раз ему помогали немецкие антифашисты, у которых надёжно прятался в, казалось бы, безвыходных, тупиковых ситуациях... – однако заветная линия фронта отодвигалась дальше, дальше, на восток. Уж больно мощно и неудержимо наседали фрицы, захватчики. Ещё знал Бородин (и не только от Рубана, у исполнителя имелись и свои источники информации!]: Глазову удалось пробиться к своим, вызывали его в соответствующие органы, где долго и занудливо допрашивали и не поверили ни единому слову композитора. Его арестовали, но богатырь, верный слову собственному в полон боле не попадать, вторично вырвался на волю, разбросав несколько, на сей раз своих, конвоиров (не до смерти шуганул их – помял слегка...) – и... исчез. Его искали, прочёсывали лес, для чего выделены были специальные подразделения, суровое наказание понесли и лица, прямо виновные в недогляде, в том, что упустили Анатолия Фёдоровича. Военный трибунал судил и вынес суровейший приговор особистам армейского звена, которые допрашивали композитора и при этом ничего толкового, конкретного от него не добились, наоборот, побудили к побегу столь необычным, отчаянно бесстрашным образом. Да и бессовестным, к тому же. (Бородин не знал и не мог знать, что в ситуации этой также подсутился знакомец наш давнишний Рубан-младший, проклятый впоследствии и музыкальной богемой, и вообще всеми советскими людьми – вылил ушат грязи на бывшего сокурсника по консерватории, попомнил заодно и Анну Шипилову, наговорил того, чего в помине не было. Завистник, сволочная душонка, одним словом! На что рассчитывал? Сделать шажочек очередной в карьере?) Да, бессовестным, что поразило всех, кто знал Глазова... Искали же Анатолия Фёдоровича долго, но безрезультатно. Пропал бесследно иголкой в стогу сена! И никто не догадывался, предположить не мог, что Глазов ночами, ползком, питаясь чем попало, опять же совершая дерзкие в одиночку налёты на ненавистных врагов (зазевавшихся, оторвавшихся от своих подразделений, частей по причинам объективного и субъективного порядка), помогая партизанам, мирным жителям, остающимся на оккупированной немцами территории снова, как недавно, самостоятельно, поскольку ни с кем ему, к сожалению, не было по пути, *продвигался* в родную тайгу, к Яркаму и Беловодью, дабы там, найдя Зарудного, добиться правды, истинного правосудия! Вот они – судьба и суд. Суд и судьба. А теперь начинается самое невероятное. Потом, позже, он, Глазов, неохотно и весьма скупно объяснял кому следовало (также и журналистской братии!), что совершенно случайно оказался в подземных жилищах странных, давным давно отошедших от жизни мирской людей – *чудей*; несколько десятков этих несчастных долгие-долгие годы, а практически десятилетия и века, поколениями не видят света дневного, обитают в глухомани, в отрытых ещё предками «ихними» глубоких норах, а иначе-то местопребывание публики сей крохотной не определишь! Чудями назвал народец оный малочисленный, изгоев поневоле? нет ли? Иван Зарудный и назвал так, ссылаясь на легенды забытые, небылицы, ещё его матерью рассказанные ему в детстве, а она, оказывается, при жизни многое знавала такого, о чём шёпотом только *посвящённые* друг с другом уединённо говорят... Словом, на многие годы осел в краях тех Глазов, почему-то изменивший решение своё добиваться с помощью Зарудного полной для себя реабилитации, отказавшись даже, в случае попадания в штрафное подразделение, громить ненавистного врага и кровью смывать позор, вымещая горе народное, внося посильную лепту в Победу грядущую и несомненную. Там, у чудей, повстречал он и какую-то знакомую давнишнюю, монахиню, имени её никому не открыл, сообщив единственно, что последовал совету её, остался с подземцами и в урочный час готов понести любое наказание за всё, что совершил. Когда же Глазова спросили, каким образом доставал он бумагу, чернила, иные принадлежно-

сти для написания эпохального произведения своего (создавал ведь «ЗЕМНУЮ СОНАТУ» свою он у чудей, да!), композитор ответил, что была у него помощница, только вот имени её «ни в жисть, под угрозой смерти страшной» не назовёт. А потом... потом настала оттепель, его, осуждённого, приговорённого к скольким-то годам, амнистировали и это произошло не заочно, как при вынесении приговора, а в присутствии сына Фёдора, немного, но странно изменившегося внешне, и стало событие данное знаменательным, поскольку наглядно продемонстрировало высокий гуманизм советского социалистического правосудия. (Хотя, чего греха таить, сам композитор наверняка воспринял такое решение Верховного суда СССР в качестве подарка судьбы... им вряд ли заслуженного!] «ЧТО СУДЬБА СКАЖЕТ, ХОТЬ ПРАВОСУД, ХОТЬ КРИВОСУД, А ТАК ТОМУ И БЫТЬ!» Теперь зато поубавилось слухов, сплетней, выпускаемых длинными, без костей, языками злопыхателей, завистников, давящихся от распираемой их ненависти к озарённому светом гению. Поубавилось в количественном отношении – содержание же наговоров смутных и пересудов, кочующих от одних «сливок общества» к другим, оставалось неизменным: струсил, предал, нет ему прощения! У бабонек да чудей всяких отсиживался, пока герои кровь за святое дело проливали!

...Но можно ли одним абзацем, раскрыть душу и жизнь *одного* человека? Одним исследованием – даже многотомным – вынести вердикт, а одной лебединою песней списать грехи, постигнуть причины, мотивы, оправдать?.. Один одному не указ. Один против мира не сгодишь⁴! И все мы – не одного ли поля ягоды??? Разве человек виноват в том, что судьба его складывается именно так, не иначе? Ведь, что ни говори, как ни крути, а человек – вот он, живёт и живёт каждый божий день, следовательно *так* или *иначе* созидает собственную судьбу. Самоё жизнью, существованием!

И всё же: разве можно простить *до конца*?\

На смертном одре дано оглянуться нам назад и окинуть мысленным взором, постичь нерукотворный монумент своей судьбы, и вымолить последним, *одним* «прощай-прости» все *семь не смертных* грехов, ибо на поверку смертным оказывается лишь *один* – пребывание под Богом слепым, то есть, вся жизнь наша – твоя, моя. Не покаявшись, не исповедавшись, тяжко, ох, как тяжко уходить навсегда за черту, отделяющую каждого от вечности слепоглухонемой... «А что я? – Сергею Павловичу подумалось. – Что я и кто я? Мне ли судить?»

Человеку свойственно постоянно вспоминать прошлое, как и свойственно дышать. Помимо воли, инстинктивно погружается он в былое, заново переживает невозвратимое, поскольку оно пребывает в нём, неотделимо от него, является тенью души его...

Детства Бородин почти не помнил... Из случайных, хаотических источников знал, что отец был офицером царской армии, дворянином умер, пересекая границу, эмигрируя из новой, Советской! России, которую не сумел принять, полюбить. (Кто являлся *настоящим* отцом, ведь Катюша приняла малютку «заместо» умершего собственного дитяти, так и осталось неразгаданной тайной. Ведомо же: всякая тайна грудью крыта, а грудь – подоплекой.) О матери чуточку больше ведал: руки её, улыбку красивую, нежность песенную к нему, тогда ещё только-только начинающему делать первые шажки. Врезалось навечно в память детскую что-то, как из сна страшного: темень предутренняя... паника в доме, где жили... какие-то люди, люди – соседи?.., его мама сидит, заботливо поддерживаемая с обеих сторон чьими-то руками, опустив ноги в таз с водой... И – всё. Потом в воспоминаниях обрыв, крах... Потом – без мамы... И без многочисленных дядей-тётей – маминых братцев-сестричек, коих, по-правде ежели, он с годами смешал-перепутал в одну многоликую, пёструю и голосисто-назойливую кучу-не-мал у...

У семи нянек дитя без присмотру?

Права мудрость народная?

⁴ Сгодишь – сгодить – сговорить, убедить, сладить

Именно, что права, увы. Оттого-то, а главным образом по причине голода повсеместного, и остался мальчик совершенно один: сородичи разбрелись кто куда – распалась семья без Катеньки... Уроки же её прижизненные да наставления ребятишки сберегли-сохранили в умах и сердечках, руководствовались оными, аки напутствиями, в последующие годы свои, но про то иной сказ...

И наверняка бы сгинул, погиб в безвременье лихом, наполовину диком, когда новое лишь брало разгон сквозь шелуху-коросту отживающего, иначе подвезло: приютил некто Герасим Афанасьевич Строгов – дед Герасим. Жил выше по Волге, на отшибе, в домишечке махоньком, выходящем оконцами двумя на реку... До деревеньки ближайшей с полторы версты...

И было в человеке этом что-то былинное, как и в Волге-реке, на берегах которой и начинал свой жизненный путь Сергей Бородин. Всякая судьба, говорят, сбудется: «судб» и «сбуд» (Как и суд...)

Бородин понятия не имел, что покойная мать его, да и не мать-то вовсе – мачеха, в годы далёкие-близкие полюбила со взаимностью начальника конвоя, который раскрыл ей душу свою мятежную и пошёл на преступление государственное за во имя чувств невероятных тех (а может, детей её ради?!), стал дезертиром натуральным и помог ей скрыться в степях заволжских опосля ноченок безумных, отчаянных... и что вскорости расстреляли человеколюбца служилого без суда и следствия, а спасённая им, из удавки раскулачивания вынутая мамочка (язык не поворачивается *такую* женщину мачехой называть!), всем пригожая наша Екатерина Дмитриевна, по следу, проложенному назад, в сторону Малыклы подалась было, да не дошла... передумала... документишки, имела какие, припрятала надёжно, чтобы, значит, с листа белого, чистого жизнь продолжить-начать... сама же вверх свернула, течения супротив недалёкой уже Волги, по дыханию могучему угадываемой, вверх, направо то бишь, где с «кучей малой» и прибилась нечаянно к случайным людям добрым... Поняли те, не поняли, кто в края их забрёл, только приняли сразу, накормили, хотя и сами с корки на корку перебивались, пусть во дни иные по присловью выходило – «не всё с рыбкою, ино с репкою», так вот, приняли, накормили, за что спасибочки им русское, с поклоном поясным! А погоня Екатерину Дмитриевну не догнала, не-ет: ловко-умело обставил побег начальник конвоя (об Опутине речь...) и не менее «чётко», «грамотно» организованы были поиск так называемый – не состоялась поимка-то! Неизвестны Бородину были и другие подробности: недолго прожила беженка-возвращенка – скончалась от внезапного сердечного ли приступа, кровоизлияния? Детей всех, больших и малых, раскидала судьба, да подобрала власть Советская, не загнули чтобы... Опять судьба! Судьбинушка-дубинушка, что по головке гладит. Не зря буковки переставляют в народе: «судб» – «сбуд»!

Зато помнил Сергей Павлович старого Герасима!

Белоседого, морщинистого, с бороною в аршин дедомо-розовской, не улыбочивого. Не запамятовал, как в сапожищах высоких-рыбацких заходил тот в воду, кланялся-здоровкался с простором синим, чистоplesким, широко-нагрудно крестился – по-своему и очень торжественно, необычайно медленно, словно нащупывая, нащупав! некий ритм Волги и опасаясь, что не подладится под него, упустит с таким трудом найденное... Размыкал уста – эх, да чего уж там, до сих ведь пор звучит в сознании, в ушах Бородина строговское «Волга-Волженька-Волжища!..» и тотчас предстаёт взору мысленному пианиста фигура статная, в обносках застиранных-серых, волгаря Герасима, кой, когда ещё! на свой счёт парнишке сказывался – дескать, судовщиком с полвека, почитай, вверх-вниз хаживал, полюбил незакатной любовью реку... и потому, как сейчас, видит музыкант: вот «вшагиват», за бреднем будто, на глупину Герасим, застынет... перекрестится величаво, низкие поклоны отдаст... кругом тишь... только блики солнечные, сдаётся, поблёскивают мирно... Вдруг, чу!., доносится с дуновением благостным лёгкий басок хриплый-окающий, неразборчивый... что кажет? с кем общий язык сыскал?.. Минута-другая сплывут... и раздаётся завершающее, венчающее «Волга-Вол-

женька-Волжища!!», после чего круто поворачивает дед... на берег поднимается, под стать Черномору пушкинскому, только без витязей прекрасных числом в тридцать – назад сам-один идёт-возвращается! И сбегает, искрясь, водица с него и просветлён лик... Разве забудешь такое! Обряд сей странный Герасим Афанасьевич совершал регулярно, в погоду любую. Ну, а лёд или шуга на поверхности, – взбирался в гору недалече, на взлобочек всходил, и оттуда, грозный, непостижимый, слал молитвы-заклинания, таинство творил сокровенное. Казалось, незримой пуповиной связан с рекой, борода вся – словно из пены взбитой, что вот-вот осядет с шипением неслышимым почти, а потом с утёса приглянувшегося того ручеёчками маси-пусенькими в подгорье и стечёт – будто сотни волосинок с бороды окладистой вниз серебрицом окатят... И ещё помнил Сергей Павлович шторм на реке, когда ходуном ходили, друг за дружку держась, земля и небо, а домичек их дрожал под ветром выгонным, северным и страшно было наружу нос высунуть... (И что-то смутно вставало, поминалось-не вспоминалось из пучин прошлого, а что – неведомо...)

– Нище, с копылков не слетим! – перекрывал грохотанье окрестное деда Герасима бас, а он, пацан, хватался за одежду убогую, солёным потом выбеленную, за сапоги, 46-го, небось, размера(!) и вечно рыбой пахнущие – словно за маману несуществующую хватался: зарыться с головой, спастись! Скорее бы кончилась не сказка ужасная!!

Деревенька, неподалёку от которой обитал старый Герасим, ничего особенного собой не представляла и мало чем с Малышкой различалась: такие же подворья убогие, избы, соломокрытые, журавель колодезный, часовенка на виду – отомолить боль-беду. Только Малышку Серёжа, понятное дело, не помнил по причине малолетства, в деревнюшку же эту хаживал впоследствии нередко, посылаемый «дедой» за хлебом-солью-молоком... есть про что рассказать будет. И ярчайшим в калейдоскопе детства был осколочек, сердце маленькое подзадевший: Оля. Девчушка тая очаровывала своей непосредственностью, весёлым постоянством, чем-то ещё невыразимым, родным, одному детству присущим. Глядел на неё и столбенел Серёжа наш: будто всегда знал её, и словно многое с ней связано было... Своя в доску! Дивился немо, а заговорить, «спросить» не решался. Кроме «Приветик!», «здрасс...», «снова ты?!» да «как живёшь?» и, напослед, «Ну, я пошёл!» – ничего. Общались мало, односложно, ибо и она в ответ «Пришёл?», «не запылится?» («Запылился, поди!»), «счастливенько!..» – и точка. Возвращаясь обратно, к деду Герасиму, Серёжа уносил в груди острое, непонятное желание вновь увидеть Оленьку, чтобы заполнить какую-то пустоту, какую-то нишу в себе, унять нойку, свербящую тихо, сладко и позатайно... А потом, дома, вспоминал, вспоминал, ждал завтрашней или послезавтрашней встречи, радуясь небу, Волге, новому дню...

Она частенько угощала его – то яблочками из крохотного садика, то молочком парным ли, вчерашним-вечерним от бурёнки, которую каждое утро ласково провожала на выгон; добрые и умные, с поволокой-печалинкой глаза коровы также навсегда врезались в память сердца мальчишечки, не отпускали на протяжении долгих последующих лет, как знак доброго и щемящего единения со всем миром сразу, как ниточка, связывающая обрывочное, пёстрое, сходящее год от года на нет...

Тонюсенская, миловидная Оля с прутиком в руках: нежно постёгивает-поглаживает бочок лоснящийся бурёнушки, бредущей косогором солнечным, в ромашках да в тенях легчайших что... слепящая сталь реки... в синьке выполосканная простынь, сохнущая прямо над головой... безбрежье лесостепное... тишина – чистая, сквозная и до звона в ушах напоенная непонятным, радостным ожиданием... удивительно пригожее облачко, бестеневое, дремлющее себе в постельке широкой... – эти ранние впечатления не оборвались с годами, оставили в душе непреходящий свет, неизбывное тепло, вечную доброту... доброту мира, часто злого, несправедливого, требовательно взыскующего, но всегда гармоничного и готового отдарить отомолить, отворить... Впрочем, было ещё одно. Вздрагивающие, худенькие плечики Оли, когда оплакивала маму, безвременно ушедшую от болезни страшной в мир иной... Он, несмышлёныш,

остро хотел подойти к девочке, утешить прикосновением душевным, сокровенным, однако стеснялся, потому наматывал круги неровные, бросая недоумённые, растерянные взгляды на чужое горева-нье навзрыд. Была какая-то черта, жирная, хотя и невидимая, отделяющая его от неё, и переступить эту черту – значило бы для обоих *приподнять завесу над тайной*, которую носил в груди, которая дала знать о существовании своём только сейчас и которая была родником, дающим начало странному чувству, что он, Серёжа, знал Оленьку и прежде... знал всегда.

Потом, по истечении десятков лет, Сергей Павлович будет горячо сожалеть о несбывшемся, несостоявшемся... Не с того ли момента начнёт преследовать Бородина неотвязное ощущение зряшности, неполноценности, ущербности сиюминутно проживаемых и переживаемых дел, поступков, событий, вещей... До болезненности ярко и нервно станет вспоминать он былое, когда упустил шанс, не сделал правильный выбор, а вернуться и исправить содеянное, увы, нельзя: необратим ход времени, необратимо и содеянное. Что же до Оленьки... Девочка, полагал он, наверняка обиделась на него! И обиделась не в тот момент наигорчайший, когда выписывал он нерешительно кренделя, боясь к ней подойти, нет-нет, – гораздо позже! Ведь ищейка-память выудит из бездонности своей до мельчайших подробностей всё: последние слова умирающей, причитания бабок, отпевание, погребение, поминки... и, главное, кто и как успокаивал, чья душа была более распахнута ей, Оле, чтобы могла бедняжка уткнуться в сострадание, в участие тёплое, живое, чтобы выплакалась скорее и тогда горюшко немеряное *отпустит* чуточку... Он же, как пить дать, вроде лучика в её буднях серых-не серых был... Лучика, которому давала она нехитрые угощеньица и который наверняка теперь стас для неё – внезапно, скоро... и даже не погас, тлея, просто скользнул мимо, не осветил маленько... Не обогрел. Хотя... До того ли ей было? Но всё-таки есть в человеке нечто, не дающее покоя совести его, постоянно терзающее, изводящее душу! Безымянное – изначальное. Нечто, простирающееся на долгие-долгие годы вперёд и не просто сопровождающее нас по жизненному пути, но отчасти этот самый путь указующее, выстилающее его то на ощупь, то наперекор, то по воле волн... Именно оно, это самое нечто, подскажет, не раз, Сергею Павловичу, что нужно, нужно было подойти тогда к Оле, что обиделась она на него за робость проявленную. За невнимание... Подскажет – и «занозицей крохотной во ретивом сердце» останется до дней конца.

Спустя какое-то время он ещё несколько раз встречал девочку, но отводил при этом глаза. Она тоже смотрела странно... А потом – провал в памяти... И – школа... другой город – огромный... иные впечатления, воспоминания, чувства... Они, наслаения новые, обрушивались вал за валом, притупляли боль раннюю, то, казалось бы, забываемую, то поднимающуюся вдруг из глубин разбуженных и он убеждался, что благодаря именно первым самым кирпичикам всё здание судьбы и души его стоит незыблемо, ровно. (Хотя... кому – как?!)

Впрочем, школьные-то годы ничем особенно примечательны не были и являли собой сплошную в узлах-узелках да – местами – в хитросплетениях тонких рваную нить, в принципе не обрывающуюся, просто теряющуюся, застланную клубами однообразных в целом лет, событий, чувствований... нагромождений одного и того же на будни, будни, будни... Однажды...

...однажды его сильно напугал резким, громким гудком проезжающий мимо поезд: мальчик потерял сознание, потом долго заикался, картавил... Кто-то из врачей присоветовал повторять: «НА ГОРЕ АРАРАТ РАСТЁТ ЗРЕЛЫЙ ВИНОГРАД!» Были другие моменты. Весьма неоднозначно складывались его взаимоотношения со школьными товарищами: частенько восстанавливал против себя коллектив, бывал битым. Накапливал обиду, втемяшил себе в голову, что его никто не любит, никому он не нужен... Ну, и так далее, в том же ключе. Собственно, о периоде данном можно создать отдельное художественное произведение, весьма поучительное для пап, мам и самих ребяташек. На примере одного ребёнка, подростка, молодого человека заманчиво было бы проследить все этапы, стадии взросления, роста, дать определённые рекомендации и родителям, и педагогам, и ученикам... В планы автора сих строк оно не входит, ибо, растекшись мыслью по древу, трудно потом будет сконцентрировать внимание на главном,

фундаментальном. Хотя наш Серёжа вывел для себя непреложную истину и абсурдной, фантастической она не кажется, посему заслуживает рассмотрения. Он вдруг осознал однажды, что человек, достигнув некоего возраста, скажем, 13–14 лет, потом уже не меняется – становится образованнее, сильнее, обрастает связями и друзьями, встречает свою любовь, творит судьбу и при этом внутренне остаётся точно таким же, каким был, каким знали его в те самые детские годы. И остаётся таким до глубокой старости... просто ему всё надоедает, он пресыщается жизнью, перестаёт изумляться окружающим краскам... Нежный период тот накладывает жирный и не всегда позитивный отпечаток на личности каждого из нас. Применительно к самому Серёже закон, им же выведенный, подходил как нельзя более. Он комплексовал, страдал, замыкался в себе, занимался самокопанием... Уединялся. Школа-интернат, а начальные годы жизни Сергея пришлось именно на неё, осталась в сердечке Серёжином чем-то холмистым и заросшим выжженной под палящим светилом травой сорной, посреди которой нет-нет, да попадались благоухающие цветы, встречались драгоценные перлы. Такое общее минорное настроение лично он впоследствии объяснял себе... поездом встречным и резким сигналом. Ему казалось, что все его беды шли оттуда... Подобная точка зрения, конечно же, не была бесспорной, однако и утешала в минуты горьких раздумий о превратностях и злокознях судьбы... Служила неким оправданием, что ли... А жизнь тем часом неумолимо бежала по стрелкам циферблата, по замкнутому кругу, по небосклону, по...

На каникулы летние пару-тройку раз наведывался в гости к деду Герасиму с надеждой тайной – сходит, как «в добрые, старые времена» в деревенчку рядышковую, повстречает Олю и угостит она его молочком только что надоенным, а потом поговорят о «ни о чём» они, поделятся воспоминаниями общими, сокровенными для них... Не сбылось, увы! – отец увёз дочурку в Самару, где устроился на крупном заводе, получил комнату в семейном общежитии, стал рабфаковцем да и Олечку свою пристроил в школу – учиться-то нужно. (Подробности такие стали известны Сергею значительно позже, только ничего это по сути не меняло!)

Тоска, хмарь в груди, а делать нечего, время не ждёт – поспешай и ты, отроче!

«По ступенькам поднимись и обратно вниз спушись» – до-ре-ми-фа-соль-ля-си... си-ля-соль-фа-ми-ре-до!

...В интернате имелось старое, задрипанное пианино, донельзя расстроенное, однако пригодное вполне для исполнения «собачьего вальса». Кому-то из педагогов-воспитателей загорелось открыть в стенах заведения музыкальную студию: пусть, мол, ребятня просвещается, не всё же пионербол, классики да голубей гонять! Глядишь, самородочек какой и отыщется-засияет в гуще беспризорников бывших! Детали Серёжа начисто забыл, однако память услужливая сохранила россыпь ярчайших миниатюр, из коих по кусочку-кирпичику можно стало выложить дороженьку прямоезжую к более поздним высоким достижениям, вплоть до вершин покорённых... Сначала пришёл настройщик, невысокий, с залысиной... из себя ого-го, гусь, правда, дело своё знал крепко – инструментишко неважнецкий наладил по камертону за несколько часов нудной работы (впрочем, для кого нудной, а для кого и...) так, чтобы пианино этому не стыдно было представлять весь род струнных(!), потом кто-то обнаружил у Серёжи *идеальный* музыкальный слух, а раз идеальный, то сам Бог, говорится как, велел использовать дар природный – музыке обучаться... Дальше – больше, в смысле занятий первых, малоинтересных, организованных к тому же не лучшим образом, поскольку преподаватели были не *старорежимные*, а первые попавшиеся, неопытные и в нюансах профессиональных, психологических весьма несведущие... чего греха таить – так себе были преподаватели!

Гм-м... Кто знает, скажите на милость, насколько часто мы, люди, погружаемся в те или иные воспоминания? Как часто по велению сердца мудрого уходим от себя – в них, а скорее всего, сбегает... чтобы также непредсказуемо вернуться обратно? Почему не отпускают нас они? Какими-такими узами, какой-такой томительной кровью неизбежно проросли в душах и почему, наконец, одни картинки былого-минувше-го неизменно притягивают всё новые и

новые фрагменты, сцены, эпизоды и заставляют звучать голоса... ноты даже, сыгранные тобой в незабываемую пору, причём, «солянка сборная» эта нередко совершенно не связана с предыдущим всем, порядком подзабытым и возникшим чисто случайно? Происходит нечто вроде цепной реакции либо... неуправляемо-управляемого синтеза – каких-таких?! – *неэлементарных* частиц... Сергей Павлович Бородин «тысщи» раз думал о причудах оных, и пристальным внутренним оком видел, рассматривал кусочки не приснившейся мозаики собственной судьбы.

...Им заинтересовалась как-то преподаватель словесности Анастасия Васильевна Бокова, сухопарая, высокая «леди-цапля», смешно «клюющая» носом, часто позёвывающая и от курения, конечно, от пагубы зловредной сей хрипло покашливающая в ладонь... очень-очень близорукая, в пенсне на длинном с горбинкой классической носу, обладающая пришаркивающей походкой и всегда в отутюженном, длиннющем сером платье, наверно, единственном «более-менее» в её гардеробе, поскольку не роскошествовала – а кто, скажите, шиковал тогда? Фамилии женщины сей он не помнил, не помнил ничего, кроме главного: она предложила ему перебраться жить к ней, благо собственных детишек не имела, а супруг не возражал: если в интернате пареньку худо, со всеми конфликтует, а музыкальные данные имеет отменные, то...

В гостиной у Анастасии Васильевны стояло точно такое же, как в интернате, фортепиано, только прекрасно сохранившееся и всё из себя необычайно *воздушное*... На немой вопрос Серёжин: «Почему же вы, Анастасия Васильевна, там ничего не играли, почему самолично не проводили занятия, передоверив их Бог знает кому?», отвечала она столь красноречивым взглядом, после которого подобные вопросы в голове Серёжиной не возникали. (До поры до времени!]

...Очередной камешек, осколочек яркий, очередное воспоминание: Анастасия Васильевна, *согнав* с лица выражение непередаваемое, вызванное незадаанным вопросом мальчика, улыбается (впервые, пожалуй, за всё то время, что он знал её), затем движением *домашним*, приглашающим приподнимает крышку пианино, садится на стульчик-не стульчик кругленький, чёрный, на котором, оказывается, ещё и вращаться здорово, ибо сидение как бы *вывинчивается*, поднимается выше и выше от пола, чтобы можно было доставать руками до клавиш полированных... и начинает играть...

...и он вдруг обращает внимание на её пальцы, желтые от курения, но тонкие, длинные, быстро перебегающие с одной пластинки на другую, а потом смотрит на свою кисть и что-то нашёптывает ему: ты тоже так сможешь, сможешь... Не тогда ли исподволь зародилась в сердечке крохотном великая любовь и великая страсть, ставшие путеводными звёздочками неразлучными, под коими шагал последующие годы к нынешним завоеваниям?.. Тернист и неоднозначен был путь. Вновь вспыхивают *люминесцентно* ярчайшие миниатюры в недремлющем сознании: видения, видения, видения...

Брызги... Осколки... Туманные нагромождения...

Но – прослеживается *судьба*.

В городишечке (и не таким огромным тот населённый пункт вышел на поверку, что выяснилось позже, когда Серёжа по привычке, пообвыкся в нём!), в городишечке, где закончилось детство, отзвенело радугой отрочество, худо-бедно закалялась юность, в городишке со странной планировкой улиц – на перекрёстках постоянно враждовали между собой ветруганы – его обучали музыке один за другим четыре или пять преподавателей, а не хозяйка дома, и каждый последующий с апломбом заявлял, что предшественник ребёнка испортил, ничего абсолютно ему не дал – ни в плане постановки рук, пальцев, ни элементарных технических навыков, ни теоретического багажа! Анастасия же Васильевна, отметить нужно, обучением мальчика не занималась, хотя и могла бы. Серёжа, памятуя красноречивый *взгляд тот*, спросить о причине самоустранения одного, понятно, не решился, ни разу. Догадки наивные оставил при себе – вряд ли могло отыскаться в них сколь-нибудь веское рациональное зерно. Зато выражение «не в коня корм» запомнил надолго. Прослышал же слова неприятные случайно – уразумел, что

относились они к нему, обиделся... Принадлежала фраза, единственная, едкая, супругу Анастасии Васильевны, чьё имя-отчество не сохранил – впервые возненавидел взрослого человека, возненавидел до такой степени, что начисто забыл впоследствии всё, связанное с ним! Итак, обиделся, возненавидел, но создавал, что продолжает есть чужой хлеб, под чужим кровом живёт-обитает и потому проглотил чувства свои негативные, запрятал глубоко внутрь. И тайное ни разу не сделал явным.

А ещё – возненавидел музыку. Сонаты и сонатины (особенно Клементи), этюды и скерцо, полонезы и мендельсоновские песни без слов, гавоты, фуги, польки вызывали в нём неприятие, раздражение – сухое, натянутое до предела, словно струна. Зато в пику перечисленному – не до конца – боготворил мальчик народные песни, лирические мелодии, мотивы... Ловил их, дышал ими, дышал немо, жадно, отчаянно и восторгался редчайшим по красоте звукам широкой русской души, русской печали напевной и удали сорви-головы!.. Обожал цыганские ритмы, гармонии, ускоряющиеся, ускоряющиеся и втягивающие в орбиту страсти роковой, нешуточной целые судьбы, жизни... Завороженно слушал революционные и комсомольские гимны, чудесные произведения советских композиторов...

В городе вскоре открылась своя музыкальная школа, и Сергей стал заниматься музыкой более регулярно, у профессионалов. Учился, однако, спустя рукава, хуже некуда, сольфеджио и теорию музыки вообще запустил. В этой музыкальной школе, как и положено, сияла своя «звезда» первой величины – некто Вургавтик, вечно прилизанный, прилежный, которому прочили блестящую будущность. Имени сего пай-мальчика Серёжа не знал, да оно его и не интересовало... Итак, с музыкальным образованием у Серёжи поначалу не всё было гладко. «Да, одарённый, да, способный, но...» – единогласно выносили безжалостный и справедливый вердикт многоопытные (и не очень, судя по отзывам Анастасии Васильевны супругу – на ушко, в спальне...) педагоги, словно сговорившиеся единственно для того, чтобы дружно махнуть на «ученичка» рукой; обстоятельство это совершенно не удручало паренька, ибо, сидя за инструментом, постоянно раздваивался: с любовью исполнял медленные, лирические, в миноре звучавшие темы, гармонии и не принимал душой классику, «школу». Не считал приемлемым для себя отдаваться им безраздельно. Вероятно, всё так бы валиком и катилось вплоть до выпускного вечера-концерта, если бы не... Анастасия Васильевна, странная и непонятная, уловившая, к счастью, душевную раздвоенность Серёжи. Его импровизации, искренние, самозабвенные, его нежная и неудовлетворённая тяга к исполнительской, но не по программе, деятельности (а почему бы и не деятельности – труд ищущей души всегда сопряжён с чем-то запредельным, с архи...) не прошли мимо неё. «Не может быть, чтобы он вот так, за здорово живёшь, расстался с музыкой! – наверно, примерно в этом направлении думалось женщине в минуты иные, в минуты, наполненные меланхоличными, осенне-печальными звуками, которые извлекал мальчик из ф-но, – неужели всё пойдёт насмарку! Нельзя допустить такое!» Подкрепляя мысли оные бурной и явно заждавшейся выхода энергией своей натуры, с подвижническим энтузиазмом, глубочайшей заинтересованностью искала Анастасия Васильевна варианты, советовалась с разными людьми, в основном, с бывшими коллегами, поскольку и сама прекрасно музицировала в прошлом, блистая в салонах с изяществом искуснейшей концертантки. Завела даже переписку обширнейшую с отдельными лицами – еловом, действовала! Дух неугомонности буквально *обуял* сию даму и всё замечающий Серёжа не видеть этого просто не мог, не мог, тем более на фоне абсолютного безразличия супруга, любящего покой, устоявшийся ритм-уклад по-мещански пустой и откровенно никчёмной собственной жизни, в которой не перетрутился ничуть. Ищущий добьётся! И Анастасии Васильевне повезло (это показало будущее!), повезло крупно: решившись с отчаянья тихого и домочадцем-лежебокой, (читай – мужа!), не развеевного на крайнее средство, попросила приехавшего из московской консерватории выпускника лично, за небольшую благодарность, позаниматься с подростком, чтобы последний хотя бы не провалился на выпускном экзамене, до которого, правда, ещё оставалось примерно пол-

тора-два года. Словом, в очередной раз передали Серёжу «из рук в руки», только теперь уже не местным «корифеям», а молодому человеку, совершенно никому не известному – Борису Фёдоровичу Головлёву.

– Любишь музыку?

Не в бровь, а в глаз спросил тот Серёжу, когда четырнадцатилетний с пробивающимся на лице пушком паренёк переступил порог класса, придя на первый урок к новому (которому, бишь, по счёту?) работнику музыкального заведения, к работнику, призванному пестовать в детях разумное, доброе, вечное... равно как обязаны были творить сие и предыдущие педагоги!

– Н-не знаю... наверно... конечно... – замялся тогда с ответом Сергей.

– Ну-ка, стой, покури!

«Покури» было сказано, разумеется, в шутку. Серёжа послушно отошёл к окну, облокотился на подоконник...

И вот Борис Фёдорович начинает исполнять – Рахманинова. Лавина звуков обрушилась на сердце юное – впервые классическое произведение, прелюд, произвело такое мощное, прекрасное, духоподъемлющее впечатление. Сергей трепетал, был сам не свой. Аккорды и арпеджио он, оказывается, ждал все предыдущие годы, именно их и недоставало ему! Разные там скерцо, менуэты, гавоты явно отталкивали душу подростка от огромного, штормящего океана всепобеждающей музыки. Сейчас же случилось, произошло то, что подготавливалось годами детского и отроческого одиночества, неразделённой тоски, бредовой и невинной памяти... Он ли сам нашёл высокое нечто, либо потрясающая музыка явила ему праздник жизни, вынув из сакральных глубин бытия надмирную благодать?! И когда замерло последнее созвучие, пацан вдруг почувствовал себя ничтожеством, пигмеем, втоптаным в пыль геркулесовой стопой гения. Будто титаны мечтаний, грёз простёрли к нему незримые пальцы, схватили за живое и... подняли с колен! Противоречиво, но истинно так! И никогда прежде не переживал он, Бородин, подобного взлёта – и парения... и низвержения сразу...

– Хочешь так играть?

– Хочу.

– Тогда вообще не играй!

– ?!!

С дня того началась у Сергей новая полоса в жизни. Теперь он по пять-шесть часов в день тренировался (иначе не скажешь!) за клавиатурой: если раньше играл по принципу «сначала – медленно, а потом – быстро», то сейчас отрабатывал каждое упражнение, каждый пассаж (в основном, это были арпеджио, гаммы, этюды...), каждый отдельный элемент пассажа различными *движениями*. Сильно, как бы шелчком, ударяя сверху пальцем по белой (чёрной) поверхности клавиши (чтобы понять это, немного прочувствовать, читатель пусть представит себе, что кто-то оттягивает конкретный палец и не даёт, скажем, указательному, опуститься вниз, а потом резко отпускает его...); вдавливая «подушечки» в полировку гладкую, словно в пластин; совершенно расслабленно, едва касаясь этих самых пластинок, но контролируя, шлифуя моторику и добиваясь того, чтобы пальцы становились некими запоминающимися устройствами и навечно сохраняли бы вновь приобретённые навыки, расположение клавиш, последовательность *нажимания*... И так далее – всего Борис Фёдорович показал ему семь движений, которые следовало комбинировать, в которые нужно было впоследствии вдыхать жизнь, душу! Подлинным откровением стало для Серёжи исполнение обыкновенного до-мажорного арпеджио после часа отработки его (непосредственно с Головлёвым!) до автоматизма основными (приведёнными выше) движениями. Преподаватель не разрешал играть быстро. Серёжа вспотел даже, руки становились тяжёлыми, но он продолжал медленно, мощно вбивать пальцы в бело-снежный, ступенчатый «звукоряд» на две октавы и только одной правой рукой.

– Теперь отдыхай! Долго.

Спустя минут пятнадцать, которые Борис Фёдорович потратил на разговоры о том-о сём:

– Сыграй быстро!!

И Серёжа выдал: легко, филигранно, воздушно пропорхнули пальцы мальчика над клавиатурой и ровно, глубоко, *звукоизвлекаемо* родилось на тихий свет классическое арпеджио.

– Теперь понял?

– Понял...

– Вот так и будешь отрабатывать все вещи. Ты должен научиться не просто нудно, а грустно-весело, также и зло, нежно, задумчиво, равнодушно и при этом на бешеной скорости исполнять любую гамму, любой этюд... Твои пальцы должны стать чувствительнее, чем пальцы у слепого от рождения! И ты обязан уметь исполнять с закрытыми глазами – знать клавиатуру от и до! Стремись!

И Сергей занимался, занимался, занимался... Он не боялся «сорвать руку» (у пианистов есть такое понятие), ибо уверовал в беспредельные возможности свои, шестым чувством улавливал ощущения и напрягал кисть почти до изнеможения... не напрягая её!! Чередовал движения, изобретал что-то собственное, словами непередаваемое. Комплексы упражнений, «школу» отрабатывал поистине одержимо. Пытался мажорные фрагменты исполнять лирично, с грустинкой и, наоборот, те, что располагались преимущественно на чёрных клавишах – задорно. Самым приятным было, «намучавшись» с конкретным «куском», отшлифовав его тремя-пятью движениями (не только вкратце упомянутыми – арсенал их постоянно пополнялся], дать потом пальцам «передых» на несколько минуточек и затем сыграть отрывок этот быстро, безошибочно. Легко! Нужно ли добавлять, что при всём при этом он по-прежнему обожал и всем сердцем отдавался напевным гармониям, темам, постоянно что-то импровизировал, используя уже вновь приобретённые технические элементы. Короче говоря, вкалывал увлечённо, подолгу – домочадцы, затыкая уши, многозначительно переглядывались... Шло наступление на вершины подлинного исполнительского мастерства. Особой темой было и штудирование теоретических основ...

Спустя два года, на выпускном экзамене, пройдя перед этим за несколько месяцев три класса, он затмил Вургавтика (помните?), местную «звезду», вызвав у членов комиссии состояние восторга, близкое к шоку.

Анастасия Васильевна попросила Головлёва подготовить Сергея к поступлению в музыкальное училище, благо задел определённый у последнего имелся: программа, с которой сенсационно выступил на экзамене и куда входили «ЛУННАЯ СОНАТА», сонатина Клементи, несколько этюдов Черни и прелюд Рахманинова, кстати, тот самый, что в исполнении Бориса Фёдоровича покорило мальчика и побудило его «наброситься на музыку». Задел имелся, да. Но этого было недостаточно. Следовало основательно подтянуть теорию, вдохнуть что-то своё, *бородинское!* воплощая в жизнь названные выше произведения... А чтобы вдохнуть, надо иметь, найти в себе, открыть *нечто*.. Как?? Наконец, настало время определиться: а стоит ли вообще игра свеч? Нужно ли ему, Сергею, всё это, не пропадёт ли со временем запал, не испытает ли разочарование? Ведь от самообольщения до разочарования – как от ненависти и до любви... Мудрость, опыт жизненный... – где вы?! Где? И состоялся тогда у него с Головлёвым серьёзный, откровенный разговор, хотя тон в нём задавал один Учитель.

– Я знаю, ты любишь музыку. Да. Но если бы ты с шести-семи лет обучался по прогрессивной методике, из тебя вполне мог бы получиться профессиональный исполнитель. Я, конечно, подготовлю тебя, ты поступишь в училище... в консерваторию, окончишь и её... Но – станешь рядовым учителем музыки, вроде меня. Согласен? Тебе решать! Так что вот так вот. Думай.

Помолчав немного, тихо добавил:

– Жаль, тебе не с кем посоветоваться... я имею в виду, из родных. УХОДИ...

Подразумевалось: ПОКИДАЙ МУЗЫКУ.

– ...не то больно будет потом... после... С каждым годом всё больней...

И тогда Серёжа впервые послушался человека, искренне которого *боготворил*.
Он – остался.

Побродил улочками городка в тот судьбоносный день – кажется, стояло такое же лето, как и сейчас, сегодня, когда вспоминает былое, находясь под впечатлением от прикосновения лёгкого, можно сказать, мимолётного к «ЗЕМНОЙ», поскольку наиграл несколько «абзацев» глазовской эпопеи... поглядел (помнит ведь, помнит!) на пальцы свои, решил: «где наша не пропадала!» и – остался.

Трудом огнепостоянным(!) компенсировал многочисленные пробелы в музыкальном образовании, прослыл виртуозом, превзошёл учителя ещё до поступления в консерваторию, куда частенько заходил (позже, позже, переехав в столицу...) на правах эдакого законодателя мод – там, в свободных помещениях, аудиториях, садился за рояль и начинал импровизировать на темы лирические, песенные, а студенты, учащиеся по одному, по два тихонечко заглядывали в комнату, пробирались на галёрку, некоторые – поближе гораздо и, затаив дыхание, внимали звукам, коими он всякий раз изливал тоскующую, радующуюся душу...

Его совершенно не стесняло количество людей, находящихся неподалёку, рядом, дышащих, можно сказать, за спиной, иногда и шушукающихся друг с другом... – целиком уходил в музыку. Жил по-настоящему только в эти благословенные минуты!

Он с блеском окончил московскую консерваторию, принял участие в конкурсе молодых исполнителей, победил...

Тогда же, в незабываемо-прекрасные годы обучения в консерватории, он слышал имена Анатолия Глазова, Анны Шипиловой, Николая Рубана, имена людей, которые в прежние лета, недавние! сидели за этими же «партами», вбирали в души такие же (только по классу композиции) знания, оставив после себя много чего для неиссякаемых пересудов, тайного восторга, желания подражать... глухого отворачивания и ненависти. В те довоенные годы, напоённые какою-то особой романтикой, светом и чистотой, повстречал Сергей и Наташу Родионову, девушку его мечты... Образ Оленьки померк со временем – хм, синевеющий на горизонте лес также истаивает-растворяется по мере того, как отдаляемся от него, да разве кто в этом виноват?! И уж давно куда не девается он, просто невидим для нас...

ДЕВУШКА ЕГО МЕЧТЫ...

А о чём, собственно, он мечтал? К чему стремился? Чем и с чем жил во снах ли, наяву??

...По-прежнему тепло, тихо было снаружи, летняя благодать умиротворяла, смягчала, разбавляла в лоне своём и чувства, и мысли, навеянные воспоминаниями, омывала нежно, заботливо и сами картинки далёкого и не очень далёкого прошлого. Уже не хотелось вновь и вновь погружаться в бездонности эти, мучать сердце недосказанностью, доселе несбывшимся, которое вот-вот могло обрести состояние несбыточного, беречь душу сожалениями о том, что так и не смогло, осталось за чертой надуманной и потому сродни разочарованию, неполноценности – о чём стараются реже сумерничать в одинокие часы, минуты самокопания ли, созерцания... Распогожий полдень струями невидимыми, однако исполненными благовестил, не иначе, смывал наносную хмарь с сердца, заряжал оптимизмом... Насколько меняются с годами наши ощущения – грубеем? становимся толстокожее? Способны, нет? на кружевную певность в страстях, на умиленную нежность и благоговение... А может, и слова оные позабыли-порастеряли в брэнной-чумной беготне за призраками? И хорошо ли, если человек пронзительно остро переживает окружающее, да и не окружающее, а проходящее сквозь него, всецело отдаваясь Жизни, не щадя души и плоти собственных??

И – кому это хорошо, ежели действительно хорошо?!

...Всю жизнь он мучился. Почти каждый день, каждый миг! раздирал в кровь грудь, обнажал сердце. Был гоним. Его чурались, он слыл изгоем, не умел жить в коллективах (и не только в школе-интернате, но и много позже...), приспособливаться к обыденности, к серости. Непо-

нятый, страдающий... И даже привык к подобной несправедливости – имел одну-единственную отдушину, отдушину – музыку.

И ещё – встречи...

О-о, благодаря им-то и познакомился с Наташей, с Наташенькой!.. Девушка поразила своей красотой, отзывчивостью, всепониманием. Он растворялся в её душе, уходил в себя, в бесконечность нечуждую, приветную и... боялся сделать предложение руки и сердца, болезненно, ранимо избегал разговоров на эту тему, ибо прекрасно знал, наперёд, что совершенно не приспособлен к семейной жизни, что, в конечном счёте, загубит на корню их светлую взаимность, поскольку он – эгоист, потому как по-настоящему нужна ему одна только музыка. Интуитивно прозрел в себе это! Ничего не мог поделать с таким положением вещей! Мучился сам и мучил её, Наташеньку святую, жертвенную, мудрую... Очень мудрую.

Жуткое и страшное: он вообще не умел строить долговременные отношения с людьми, с кем бы то ни было! Или фальшивил, притворялся, напяливал эдакую маску или откровенно уходил в себя – прочь, не заботясь совершенно о производимом впечатлении, только тяготясь безмерно и безумно, эгоистично желая уединиться. Зато *встречи* выручали! В огромном городе, где началась его исполнительская карьера, где обрёл постоянное место жительства, они, встречи эти, служили бальзамом, ненадолго исцеляли душевный недуг, доставшийся (знал это! знал, но ничего поделать с собой, изменить не мог, *немог*) от поезда, который когда-то напугал до полусмерти. Почти каждый день знакомился с очаровательными девушками, откровенничал с ними, помогал каждой советом, делом, иногда и материально – лишь бы вобрать по крупице в душу измочаленную флюиды нежности, участия, отзывчивости, чьи-то сердечные тайны и чьё-то редкостное понимание именно его, Сергея Бородина, проблем... забот... Жил этим! Запасался впрок впечатлениями и откровениями, упоением взаимной, пусть и не очень долгой, но предельно искренней и насыщенной, честной дружбы с налётом амурным, интимным... хотя любая, каждая из прелестниц милых нужна была прежде всего физически, физически, ну, хоть ты тресни! Он просто не умел, стеснялся, боялся «быть, как все», дабы соблазнять, ему даже некогда было этим заниматься: уйму времени отнимала Музыка. Лучше всех, ближе и роднее всех стала именно она – Гармония. Сергей изучал огромное количество произведений различных по стилю, почерку, духу авторов – здесь наличествовали шедевры столпов ушедших эпох, гении сравнительно недавнего прошлого, непохожие друг на друга современники. Иногда Бородин невольно сравнивал свои ощущения, так сказать, палитру чувств, возникающие при знакомстве с новым дивом музыкальным и в ходе очередного ухаживания за юной красавицей, во время очередной *встречи*... И первое, и второе побуждало жить без оглядки, радуясь учащённому пульсу, с надеждой и нетерпением ожидая завтрашний день...

От Наташи у него не было секретов. Рассказывал ей о своих *встречах*, рассказывал обо всём. Самое страшное, заветное, хранящееся в интимнейших уголках души выложил перед ней – на её суд. («СБУД?..») И она приняла его таким, какой он есть. Одержимым, одиноким, «накручивающим самого себя» (так говорила!) идеалистом и эгоистом, да, да – эгоистом! Уважала в нём только одно: несёт свой крест, а не перекладывает спуд-гнёт на хрупкие плечи страдалиц и скиталиц по дорогам жизни, горемычно чистых, наивных – целомудренных и милосердных! Понимала: ему нужно общение, нужно постоянное разнообразие, поскольку ищет некий собирательный образ, лепит мозаичное полотно из счастливых надежд, часто разбивающихся вдребезги и до слёз царапающих его. Это – вторая натура Серёжи, Сергея. Нет-нет, не вторая – первая, главная. Ревность же, мелочная опека – они только убьют, разрушат идиллическую связь между ними, взаимное родство душ. Знала умом: права! Хотя сердечко нашёптывало, конечно, много чего ещё...

Подобно тому, как Клава в своё время удивительно прозрела творческую сущность, судьбу творческую Глазова, шестым чувством уразумела, насколько долог и тяжок, неблагоприятен путь созидания, Наташа Родионова внезапным просветлением мысли постигла насквозь и

личность Бородина – её Сергея Бородина... Достаточно было один-единственный раз послушать его исполнение «ЛУННОЙ», увидеть глаза молодого человека, пальцы, колдующие над клавиатурой и словно вылепливающие из невидимого материала звуки, звуки, звуки... ах! какие звуки... и слова-то не подберёшь, какие звуки! чтобы понять: он не от мира сего. Почему единственный раз?? Потому что она с поры той тщательно избегала присутствовать на его концертах – было больно за него, невыносимо больно было ей видеть, в каких корчах телесных, нравственных извлекает он чудесные стоны, подголоски, звоны и шорохи почти... – о, разве к таким людям подходят с обычными мерками? Конечно же, нет, НЕТ!!! Главное: чтобы никто из них не испытывал остро отрешённость, неприкаянность, некую ущербность. Не чувствовал, что к ним относятся *иначе*, хотя... Хотя (о, милое женское начало!) почему? Неужели есть что-то постыдное в элементарной жалости? Трудно поверить: человеку не хочется прислониться к родной душе, к душе другого человека, любимого, дорогого, дабы испытать психологический комфорт, уют, отдарить их сторицей – своею нежностью, заботой, признательным, бережным прикосновением ответным... плюс новыми великолепными достижениями в деле, которому посвятил себя и которое, без сомнения, нужно всем-всем-всем и возвышает в нас именно лучшие, сокровенные начала. Трудно предположить!

И ещё одно, касаемо Наташи. Ей стало очевидно – эти девушки нужны ему по мере того, как изучает он новые произведения. Немыслимым образом помогают Сергею, то попадая в унисон его распахнуто рвущейся встрече прекрасному душе, то «сглаживая углы» – диссонансы и шероховатости, неприятие им, исполнителем, авторской, композиторской! самобытности, почерка, стиля... Да в конце концов, просто *что-то* в тексте очередного нового музыкального произведения, осваиваемого на момент *встречи*, также новой, очередной, не даётся, не получается – технически проработано идеально, досконально, а в плане художественном – загвоздочка... так вот, тогда-то и уходит он в никуда, ищет, ищет место себе, гонимый, но не отторгнутый Музой и смутно, подспудно влекомый чувством уже и не шестым, а седьмым в объятия возбуждающие, вожделённые... В объятия не столько плотские, сколько – душевные, задушевные, где ещё одним чувством неизъяснимым постигает высокое, обретает успокоение, подсказку небесную: исполнять следует та-ак, автор задумал во-от что, тебе лишь поначалу это казалось странным, неприемлемым, однако теперь ведь ты и сам понял, принял, как естественное, убедился в правильности заложенной *концепции*... Подсказка та – это... чудо: чей-то взгляд, тёплый, внимательно-сочувствующий, чьё-то слово доброжелательное, чьё-то прикосновение – лёгкое, тихое, доверчивое... Родное... и вот – кризис преодолён! Можно снова набрасываться на клавиатуру, на нотный стан... Эгоизм? Вампиризм?! Девушка не думала, не желала думать в такой плоскости. Знала: что когда-то взято, с лихвой будет возвращено! Эту мудрость подсказало ей любящее сердце, ведь она – ДЕВУШКА ЕГО МЕЧТЫ.

...Сейчас, у окна в летний московский рай, вспоминая, держа в руках несколько первых, верхних, уже проигранных в *ознакомительном* порядке листков из довольно толстой пачки, присланной Глазовым, Сергей Бородин чувствовал глубочайшую признательность Наташе, десяткам других красавиц, носящих чудесные имена и подаривших ему столько возможностей, вдохновений, творческих сил – ставших подлинными Музами для него! Прошлое загодя, впрок подготавливало пианиста к главному в жизни. Эх, если бы он сумел использовать всё это! Те *встречи*, разговоры на вокзалах, где люди особенно откровенны друг с другом, *помогание* милым, зачастую беспомощным, непосредственным девушкам – вот он таскает их чемоданы, сумки, на ходу даёт советы, предостерегает... вот просто подходит к обиженной кем-то-чем-то-на-что-то незнакомке, в потерянной позе одиноко и брошенно пропадающей среди людской толчеи, в эпицентре, кажется, человеческого водоворота, подходит со словами «Если вам надо поплакать, поплачьте у меня на груди...», а она, и!! она бросается-таки ему на грудь, неудержимо, горько вырыдывает накопившееся... он же прикрывает бедняжечку от сторонних казённых, косых, порой неодобрительных, завистливых взоров, нежно-заботливо поглаживает дев-

чушку, нашёптывает ей смешные нелепицы, чуть ли не сюсюкает, испытывая при этом чисто отцовские чувства... а вот...

На память пришло грозное военное время. Молодой музыкант, он, верный себе, знакомится с миловидной женщиной, лет около 30, которая, выяснилось, получила на днях «похоронку» и стала вдовой – с Валентиной Шурыгиной. Первые минуты диалога выглядят странно, он чувствует: не просто тягостен собеседнице, но и отталкивает её – она держится натянуто, отчуждённо и вместе с тем будто ждёт, чтобы... приласкали. Вскоре узнаёт о постигшем, свалившемся горе...

– Господи, да за что же мне такое наказание?

– ...

– Как жить? Как теперь жить?!

– ...

Он видит: жгут, мучают невыплаканные слёзы, которые запеклись внутри, и только ждут, ждут случая, чтобы *содралась* корка и можно было хлынуть из глаз в чьи-то склонённые души... подставленные незримо плечи надёжные и – в ладошеньки... Жгут, мучают! Прогорклостью сухой, *зносящей* И, словно страшным обручем, сдавливаются со всех боков ожидание это, выдавливает его, спрессовывая попутно до комочка нестерпимого, где, в почке словно, вызревает, произрастает облегчение – катарсис! Она, Валя, (имя потом узнал, как и то, что была сиротой круглой), собственно, даже и не слышала его, Бородина – пребывала в состоянии, близком к прострации. Ничем не отличалась от сотен, тысяч соотечественниц, получивших извещение трагическое, казённо-скупое – сначала поплакала, порыдала, потом стиснула было зубы, занялась делами-хлопотами своими, чтобы отвлечься, утопить в реке времени безысходность, скорбинушку: глядишь, пообвыкнет душа, утихнет горяшко-то... ан, нет, нет! В непредсказуемый миг взорвалось пространство внутри, рученьки-ноженьки ватными сделались, отказали – видать, настоящие, большие слёзы впереди были, журавлиным кликом опалить грозились – она их еще не вырыдала, думала: пролились в закутке, уединялась когда с треугольничком страшным, так ведь нет, нет! Нет!! Цветочки то были первые, на помин лёгонькие, цветочечки-точечки многоточия, после которого – господи! подумать-представить жутко, не по себе становится!

...И тогда он за руку приводит её к себе, приводит, не понимающую, чумную будто, гордую, беззащитную, прекрасную, надломленную и возвышенную сразу, усаживает в креслице и начинает играть, играть...

...и теперь уже иное видит: она оживает, взгляд становится целеустремлённым, сосредоточенным... В лице что-то изменяется – черты его нежно смягчаются, а «стена плача», которую было оно окружено незримо, становится прозрачнее, невесомее, исчезает вовсе – невидимое исчезает... вовсе...

– Господи! – Срывается к ней, падает на колени, целует её ноги... Ведь так было, было!!
Заклинает:

– Простите меня, простите, что это не меня убили, что я жив...

Ему в мгновение следующее и также непредсказуемое стало невыносимо стыдно за всю свою жизнь до сих пор, гадко и мерзко, пакостно стало, хоть сквозь землю провалились, а она, Валентина, великая душа, подымаясь над горем собственным, немеряным, чёрным, находила чуточку теплоты душевной и для него, Сергея, могущего фортепианными звуками перевернуть представления человеческие о человеческих же возможностях! Начала плакать, и он плакал вместе с ней, – плакал откровенно, радостно, не стесняясь слёз, даже напротив, ему нравилось, что они столь обильно, щедро льются из глаз, смешиваются с её влагой неутешной, горклой... нравилось, что оба находятся сейчас (*тогда*) в каком-то пронзительном, запредельном и для других недоступном мире, в мире, замешенном на боли рвущей-ревущей и вспоротом лезвием обоюдоострым, и они шагают ступнями босыми по ножевищу сквозь бездну мрака, а над голо-

вами – высокий светоносный щит, который бы взять... за которым бы укрыться... в том числе и от себя самих...

Откуда черпают силы внутренние такие люди, как Валентина – в тягчайшую из минут жизни враз порушенной, чадной женским крылышком пренежным укрыла и его, эгоиста, самолюблённого талантишку, подарила незнакомому фактически человеку – свой мир... Не является ли горюшко безмерное эдакой кладезью, родником вечно бьющим истинного самоотречения и самопожертвования – единственного средства, вышибая клин не! клином, стать сильнее, мудрее, бескорыстнее, не пасть духом, а возродить в груди, приумножить добрые чувства, начала?! И не отступают ли в мгновения некие брэнной нашей повседневности, не пропадают ли пропадом такие сущности, явления, вещи, в основе коих – ревность, зависть, злопамятство... самость?!! Минут часы, дни, недели... Уляжется сумбур. Дымка рассеется. Чистый, обжигающий свет пробьётся лучемерно и лучедатно – укажет истинный путь, а совесть живоносная наставит на него. И не будет стыдно Валентине за то, что разделила боль щемящую с посторонним человеком – и не надо тут больше слов никаких...

Эти *встречи*, встречи, ах! Эти не назначенные и преднамеренные встречи – тайные, памятные, следующие одна за другой столь необычным образом, что превращались в нечто единоецельное, бесконечное, без расставаний и разлук! Эти встречи-речи, эти встречи-раны, что легли на плечи поздно или рано и согрели еле... всё-таки согрели!

Но как же Наташа, спросите вы?

Однажды он сделал ей предложение.

И тогда она сказала в ответ... Слова девушки он помнил почти наизусть. Повторял их, словно молитву, мольбу! Повторял бездумно, свято, крылато...

– Брак убьёт нашу любовь. Давай останемся вечными любовниками. Пройдут годы, ты женишься, может быть, разведёшься, у тебя будут дети, внуки... станешь большой знаменитостью! Всё будет! Болезни, соседи, командировки, отпуска, свои проблемы, неудачи, достижения, утраты... Всё, как у всех. Я сказала, может быть, разведёшься... Это не от того, что желаю тебе несчастий, желаю развестись. Просто знаю тебя, твою неугомонную влюбчивую натуру. Так вот, милый, родной Серёжечка, если мы поженимся, то, считай, загробим, погубим всё светлое, доброе, что соединяет нас, пойми! А одними воспоминаниями сыт не будешь. Мы быстро насладимся близостью, исчерпаем себя, наши чувства, наши взаимные пристрастия. Выпьём до дна, осушим самоё души друг друга и тогда настанет такая тоска, хоть глаза выколи! А я... я предлагаю тебе сохранить нас для ближнего – ты для меня и я для тебя. Раз в году, ну, может, два раза в год мы будем видеться, будем *встречаться*... И выговариваться, делиться наболевшим, накипевшим. Будем постоянно жить с ощущением, со знанием того, что я есть у тебя, а ты – у меня. Самое сокровенное, позатайное, интимное будем доверять только друг другу, будем советоваться, помогать словом и делом ты – мне, а я – тебе. Станем эдакими отдушниками друг для дружки, настоящим берегом, тёплым, родным, желанным и приемным! Привыкнем к долгим разлукам... к предвкушению! Научимся выделять самое существенное и важное из общей массы жизненных впечатлений, проблем, а потом станем решать: стоит ли выносить это на суд родного человечка, на мой, либо на твой, соответственно, суд, чтобы не омрачать короткие минуты наших встреч, понимаешь? Зато мы никогда не загубим на корню редчайший дар судьбы – счастье любить и быть любимым... Согласен, нет? Всегда останемся нынешними! И обретём опыт преодоления в одиночку неурядиц наших, причём, ведь никто не обязывает нас крепиться под тяжестью тех или иных забот, горестей... А по глазам, по вздохам и угадываемой недоговоренности некой впоследствии будем читать глубинные мысли, невысказанное, будем расти над собой, совершенствоваться в постижении так называемых потёмков вообще всех! человеческих душ, понимаешь? Для нас не останется чужих душ!! Согласен?

Что мог он ответить ей – тогда?

Смотрел, прощаясь, на родимые чёточки лица её, запоминая чуть заметные складки на коже, малюсенькую родинку рядышком с левым ухом, лёгкий, невидимый почти пушочек под нижней губой... отдавая отчёт в том, что вот сейчас выйдет из комнаты – на улицу, в суету сует и немедленно начнёт выискивать глазами новый объект для знакомства, флирта, романтических отношений, дабы с кем-то неутолимо откровенничать, кого-то задабривать, надеясь уже по привычке, безвольно, эгоистично склонить красавицу очередную к последующей близости – не только духовной, при этом тщательно скрывая, маскируя очевидное: домогается *женщины*, её ласк прикосновенных, страсти безоглядной, душевных шагов навстречу ему, такому безалаберному, постоянно в себе копающемуся – нет, не копающемуся, но роющемуся и вечно одинокому, ибо кроме музыки у него никого и ничего нет. Потому что (и в оном не признавался ни единой душе, кроме Наташи, конечно) остался не востребуемым образ далёкой девочки Оли с румяным яблочком или с кринкой молочка парного в руке и теперь он, по сути, всё тот же мальчик Серёжа, сирота, *невольно* ищет её в каждой, да, в каждой, встречной, дабы заполнить невыносимую пустоту в груди. Пустоту, где хлещут одни только волны великой музыки земли...

...Они расстались вскоре. Разъехались, страна-то огромная! И потом регулярно виделись, как и было условлено, раз-два в году на несколько дней. И действительно, теряли голову: объятия, ласки их были отчаянными, жадными, разговоры велись на самые трудные, «запретные» темы (запретные в смысле и глубоко интимном – открывались до конца перед ближним... ближней... и в плане чисто политическом, социальном: обсуждали такие события, моменты, которые в те годы считались опасными, прилюдно поднимались крайне редко, шёпотом, с соблюдением бдительности, осторожности...) Наверно, так опытный врач-психолог общается со своими пациентами, да и то далеко не каждый – лишь тот, кому завтра на пенсию... кто уже сегодня заживо похоронил себя...

Оба ждали очередной встречи, загоя к ней готовились. Помехой двум любящим сердцам не стала даже Великая Отечественная война.

Он часто выступал с сольными концертами «на фронтах сражений» и поистине причащался боевым будням доблестных сынов и дочерей огромной Отчизны, людей, которые в минуты исполнения им классических и просто популярных произведений, в том числе и всенародных песен, становились самыми обыкновенными слушателями, никак не героическими командирами, комиссарами, солдатами, благодаря чему забывал об опасностях: артобстрелах, пулях-дурах шальных, бомбёжках и переносился мысленно под своды актовых залов, на открытые сцены больших городов... Несколько раз в пёстрой, многоликой массе пришедших на встречи эти музыкальные с ним видел, (по крайней мере, хотел видеть...) знакомые до боли глаза, причёску... Потом оказывалось, что обознался, однако ощущение огромного, приливающего волной внезапной счастья уносил с собой, лелеял, чтобы после, спустя некоторое время, слившись с Наташенькой в безумном поцелуе, на выдохе страстным поинтересоваться, не была ли она там-то и там-то...

Он так и не женился. Наталья выходила замуж, но развелась, одна воспитывала дочурку – Светланку. Всё как у всех, ну, не у всех – у многих, очень-очень многих... Кроме того, что у неё был Он, а у него – Она. Вечные любовники! Любовники... Слово-то какое! Отдаёт средневековым цинизмом и дешёвой, заплесневелой романтикой времён безвременных, случающихся наперекор... Не любовники – две половиночки, две вселенные, рвущиеся друг другу навстречу, но соединяющиеся лишь на считанные часы, дни и ночи, чтобы вновь разойтись по своим прозаическим орбитам, потонуть в извечности буден, в хаосе и бесплодии неприкаянного бытия... Им так мыслилось, мечталось... Бежали друг от друга, но ещё быстрее несло время – не безвременно, а именно сроки назначенные, поры жизни ли, дожития...

А однажды... Однажды она не пришла к условленному месту и тогда Сергей Павлович понял: её не стало. Долго стоял у парапета одного из мостов через Неву, тускло глядел на воды

седой, холодной реки и вдруг остро понял, что метался, искал некий собирательный образ, дабы утопить в фата-моргане прекрасной угловатую, *выдолбленную* душу свою, душу, опустошённую давным-давно, душу, мечущуюся бездарно в поисках другого, наверно, хозяина, не такого, каким являлся он, изгой, подлец, тряпка, замахнувшийся на божественное, на музыку, музыку, принадлежащую вовсе не ему, бывшую не *его* музыкой, о, не-ет – других великомучеников, святых, полубогов... Тех, кто мужественно творил, искал (в отличие от него!), кто не перемежался, как он, не убегал во *встречи*, не возвращался оттуда, *из них*, самообольщённый, и при том возвращался (относится к нему, к Сергею Павловичу!) не целиком, весь, а *кусками*, *кусками*, *кусками* в безуют, в иллюзию – к роялю... да-да, возвращался *кусками*, поскольку разрывался постоянно на части и неведомо ещё было, что же именно вернулось, а что бродит вовне, осело навсегда на стороне, то ли найдя, то ли окончательно потеряв беспокойный покой?!. Порывистый ледяной ветер с севера вдруг стал похож на эти самые *куски* – налетал, обдавал студеностью, промозглостью, напоминал сухой, потрескавшийся наждак, но не тот, о который шлифуют какие-либо поверхности, а который сам нуждался в очищении, настолько порист, упругорыхл и *несказанен* был. Настолько занозил неприкаянностью собственной и требовал ответной ласки, участия... они были одним целым тогда – он, Бородин, и ветер жестокий, израненный, бросающийся на первого встречного, на него, исполнителя, глядящего с моста в невский свинец. Бездомные, грубо выхваченные из лона общего, земного, брошенные в никуда. В ни во что... Оба возвращались – и не могли возвратиться; один, человек, – в прежнее состояние, ведь так много *человеческого*, пусть и *кусков*, реяло где-то среди людей, а другой – ветрище, стихия и, представьте себе, здесь также были *куски*, пускай свои, но *куски*, куски, будь они трижды неладны... здесь были *такие куски*, что в своё время обнимали, ластились к чьим-то (ведомо к чьим!) устам, очам, оведали нежно-небрежно чьи-то(!..) прелестные черты... Тогда и осенила его простая до жути мысль: «Разве они, великие композиторы эпох, простили бы мне *такое вот* отношение моё к творчеству... к постоянной глубинной сути звукотворений своих? Простили бы мне, человеку без святости, без идеалов, без цельности и уважения как минимум к самому же себе??»

Тогда-то и началась переоценка его жизненных ориентиров, ценностей... Но это уже отдельная глава...

...которая органично связана с предыдущей жизнью Сергея Павловича Бородина.

Тогда, в Питере, простояв половину вторую дня над хмурой позднеоктябрьской Невой, продрогнув, отвернувшись от прохожих – не дай Бог, признают в застывшей изваянно фигуре всемирно известного исполнителя, он думал, думал, думал о тёмной стороне преунылой судьбы своей: единственное, что поддерживало, это надежда, тлеющая и потому теплоющаяся, но тающая, тающая, увы... Призрачное упование, что уж сегодня, теперь! непременно донесёт до Наташеньки невыносимость одиночества, постоянного ожидания самой главной – последней – *встречи*, *встречи*... что не растеряет слова – такое случилось с ним прежде, не забудет мысли, идеи, заготовленные фразы (не общие, нет!), но обстоятельно и последовательно поговорит с женщиной об их взаимных чувствах, о дальнейших планах на жизнь... Убедит её: довольно, мол, поиграли в романтику – и хватит, давай жить вместе, как все нормальные люди... Дочурку приму, ведь не чужая, как и ты...

Ветер высекал слёзы, пробирал до косточек, редкие солнечные лучики не успевали приветить, приласкать то, что таилось под одежкой и ещё глубже... В минуты отдельные Бородин... проклинал Наталью, жалел себя, но всего более попасть хотел в комфортабельный гостиничный номер на двоих, чтобы распить с ней за встречу (*встречу*...] шампанское, согреться, утонуть в её очах, растворить в женщине по толичке накопившееся – сумятицу чувств, бред, боль, угрызения совести и непонимание ни-че-го в жизни... Он ненавидел и тут же боготворил, благословлял!! И совершенно не представлял себе, что будет делать *один* в этом самом

номере... Боялся возвращаться туда, где полагал, не-ет, где должен был провести эту, возможно, и следующую ночь. Бродил кругами, бурно-взволнованно, хотя внешне и неприметно, внутренне вздрагивал, завидя в отдаленье сколь-нибудь похожую на её, Наташи, фигуру, всё надеялся, надеялся и уже как будто слышал знакомые шаги, уже бросался навстречу любимой с распростёртыми объятиями, ощущал на губах своих вкус Наташиных – что-то, отдающее мятой и изысканным импортным бальзамом, слегка шокирующим сладковатостью приторной, томностью, обещанием... да, долгожданным, таким родным, тёплым, возбуждающим... колдовским...

Тогда, в Питере, поняв, что она не придёт, что случилось нечто из ряда вон выходящее, непоправимое, роковое, Сергей Павлович лишь к вечеру медленно двинулся вдоль набережной куда глаза глядят... Сам себя утешал, мол, никакой Наташеньки не было, он всё придумал, а здесь оказался просто *так*, но спустя буквально минуту скрежетал зубами в отчаянном бессилии перед свершившимся (чего нельзя было не признать!] фактом. Пройдя метров двести, развернулся и чуть ли не бегом бросился назад...

Ни души.

Ветер усиливался, сбивал с ног, огромные чёрные тучи дополняли картину полнейшего краха в жизни – двигались грозно, мрачно и под стать им неслись безжалостные, хищные волны – такую жуткой и зловещей он Неву не знал. Казалось, весь мир ополчился против него... Мир превратился в некое огромное живое существо, которое изгоняло музыканта – прочь, прочь! Вон!! И старчески пришаркивая, подняв воротник пальто, обиженно шмыгая носом, он поплёлся-таки обратно, оставляя навсегда это место условленное, скромный пяточок возле перил одного из многочисленных ленинградских мостов. Родным, заветным было оно в гигантском городе, известном ещё, как Северная Пальмира. Единственным роднёньким в колоссальном этом нагромождении дворцов, колонн, каменных львов и мостов. Словно кладбище – клочок суши, островочек махонький, где твой дом... Ибо лежат там папа с мамой, да и сам пропишешься там же – навечно. И по мере того, как удалялся он от *притина* своего невымышленного, в сознании двоились, множились клавиатуры и длинные, тёмные тени, будто пальцы слепые, тыкались в октавы, и не октавы вовсе, а в расплзшиеся струны... Тыкались упрямо, ломкими молоточечками издавая немые, мёртвые звуки. Страшно...

Свечерело. Зажглись лампы, фонари, окна... Он всё бродил, бродил... В гостиничный номер возвращаться сил не было. И вот *тогда* впервые не захотелось ему ни с кем встречаться, мнимо облегчать душу свою... свою за чей-то невосполнимый счёт. Самая мысль эта была противна. И может быть, в момент, когда почувствовал он и щемящее, и злое сразу неприятие идеи беглого знакомства, дабы не оставаться одному в казённых апартаментах люкс, когда аж передёрнуло его от подобных в прошлом занятий и удовольствий – и стала выкристаллизовываться в уголках сознания блуждающего, измочаленного совестливая переоценка прежнего образа жизни... возникли первые намётки грандиозного плана – побывать во всех тех местах, где в лета минувшие виделись они, любили друг друга... пережить вновь негасимое счастье иллюзий, человеческих иллюзий, в основе коих преданность и память души. Конечно, сначала нужно было убедиться в том, что Натальи действительно нет больше на свете, что она *ушла навсегда*.

Вспоминать обо всём сейчас, по истечении нескольких лет, стоя у окна в зелёно-голубой ликующий мир не хотелось. Бородин отмахнулся было от той полосы в судьбе – серой, суетно-смурной, переполненной хлопотами, звонками, телеграммами, почтовыми корреспонденциями и так далее, и тому... Не удалось. Память всеядна. И далеко не всегда избирательна.

...«Кем вы приходились покойной?» – обычно именно так вопрошали многочисленные голоса, маски, внешне любезные, соболезнующие, внимательные к горю ближне-го-не ближнего, однако – человека! Выяснилось, что у Родионовой немало родственников, что не особенно они её баловали заботой, общением, относились к ней настороженно: мол, и чего одна,

нет бы замуж... семью создать... Подумаешь, один раз не сложилась личная жизнь! Так ведь дочь на руках, значит, отец нужен, чтобы рядом был, чтобы мужская рука в доме чувствовалась... Кстати, видел Сергей Павлович и дочуру, Светланку – ничего девица: самостоятельная, сильная, привлекательная. На мать похожа. Побывал и на могилке – Света отвела, сама тактично в сторону отошла, пока незнакомый ей мужчина, говорят, знаменитый музыкант, неловко с ноги на ногу переминаясь, возлагал и поправлял роскошные цветы на дёрне и долго-долго затуманенными глазами смотрел на фотокарточку с изображением умершей (едва узнавая лицо на снимке!) – памятника не было, дочери одной трудно приходилось – работала и училась, всё сразу, перебиваясь от стипендии до получки. Откладывать гроши откладывала, да без посторонней помощи вряд ли осилила бы задачу на памятник накопить... Главное произошло днём позже, в том же провинциальном городишке, где закончила жизненный путь его Наташа. Переночевав в дешёвенькой с клопами гостинице (Света предлагала остановиться у неё, но он решительно отказался), наутро опять отправился на кладбище, чтобы теперь уже одному без свидетелей, попрощаться с той, кто была... и не была для него... и мамой, и сестрой, и женою, и любовницей – нет-нет, возлюбленной, и даже дочуркой в минуты особенной нежности – нежности *целомудренной*... И – ДРУГОМ.

Стояло солнечное предзимье. Тишина обволакивала «ниву божию», заливала весь белый свет... Редкие листики облетающие подчёркивали скорбное безмолвие и величие ПОГОСТЬЯ ЕДИНОСУЩНОГО... Бородин тяжело вздохнул, присел на скамеечку подле насыпи-бугорка... потом встал, дотянулся до крестика, зачем-то потрогал дерево – мягко и чу-уть-чуть шершаво... ответила поверхность на прикосновение ласковое, благоговейное... Будто он ЕЁ погладил кончиками пальцев музыкальных – не крестик, а её, как когда-то, когда-то... И будто хотела, да уже не могла ОНА согреть...

Так и стоял, заливаясь слезами, ощущая связь тонюсенькую с той, кто была и возле, и бесконечно далеко... Он не давал никаких обещаний, слов нерушимых – просто понял, что перерождается, что обязательно, немедленно! приступит к воплощению в жизнь задуманного *тогда, там*, на мосту питерском, – посетит места, где встречался с НЕЮ.

Солнышко тихо, покойно струило пушистенькие золотиночки в угловатую, тоскующую душу – оно словно перебирало на самом её доньшке что-то невидимое, трепетное, дающее знать о себе крохотными покалываниями сердечными, глубинными из неведомого произрастания толчками... Почему-то отчётливо подумалось в минуты отрешённости долгожданной, что если бы появилось музыкальное произведение, вобравшее в ткань свою всю историю человечества, скорбей и взлётов, радостей и страданий, страхов, надежд, противоречий и смут людских, то он, Бородин, сумел бы исполнить звукотворение сие необычно – мужественно, мудро, с колокольной яростью и ослепительным накалом... Он исполнил бы просто потрясающе тот несозданный до сих пор шедевр – в память о Наташе... Наташеньке...

Солнышко продолжало тем временем сугревно *обнимати* щёки... подбородок... лоб...

Слова, давно и недавно (а что такое вообще – течение времени? Ход мыслей, фон?!] ЕЮ произнесённые, начали всплывать на поверхность брэнного прозябания (так двойнику внутреннему не могло не казаться!) Бородина не иначе как под воздействием теплоносного света немеркнувшего, света, идущего от запечатлённого навеки образа любимой, и слова эти озаряли, возрождали всё лучшее в Сергее Павловиче. Слова! Одинаковые, одни и те же, об одном и том же, почему будоражат чувства, вызывают дрожь, слёзы, смех, раскаяние? Отчего люди не могут привыкнуть к ним настолько, чтобы относиться к букворождённым *нейтрально, спокойно*? Не от того ли, что важны не сами по себе, а энергетикой того, кому принадлежат, кем посланы в полёт, на помощь, если хотите – на беду?! (А может быть, они, слова эти, являются ключом неким к закоулкам глубинным родовой памяти нашей и пробуждают древние, как жизни *древо*, ассоциации о забытых истинах, что ИЗ ТИНЫ минувшего...] Наташины слова, ровные, продуманные, звучали с материнской прозорливостью, озабоченностью, она больше беспокоилась о

нём, о Сергее, чем о себе. Только сейчас, здесь, на могилке её скромной, понял он, что каждым последующим словом своим, взглядом, жестом и прикосновением она просила его простить её за мысль остаться вечными любовниками, сохранив друг для друга лучшие качества души, – мысль, которую когда-то высказала в ответ на его предложение руки и сердца. Вспоминая слова её, обыкновеннейшие самые, самые простые, он вспоминал и тон, каким произносились они, и выражение лица, прежде всего – глаз, то лихорадочно горящих, то измученных негой, то страдающих безмерно... песенно... Её милых очей!!

«...когда тебе особенно плохо, старайся приносить людям, хотя бы кому-нибудь одному, больше радости, добра, счастья – говорила она – увидишь, что сразу и тебе станет легче, всё волшебным образом переиначится, приобретёт знак плюс».

«...когда невыносимо ждать, не на что элементарно отвлечься, ничто не впрок, думай о том, что и мне плохо, слышишь, родной! Плохо, очень плохо, а ведь я женщина и это вовсе не означает, что выносливее, мужественней тебя. Отнюдь, хотя последнее время именно подобную чушь начинают насаждать в иные умы и сердца!»

«...веди дневник. Записывай туда самое сокровенное, тайное... При очередной нашей встрече мы обменяемся дневниками – ведь я давно уже помещаю там свои мысли, чувства – поверь, это помогает! Очень. И ещё: если полюбишь какую-нибудь девушку, не открывайся ей до конца, не откровенничай – возможно, вы создадите семью, будете жить вместе не один и не два года. Так вот, поверь, наступит такой момент, когда тебе станет неловко за свои бывшие слёзы, клятвы, признания, ты почувствуешь, что настужь, нараспашку стоишь перед ней, что буквально обнажён!! И тогда невольно станешь избегать былых слов, страстей... Замкнёшься, будешь страдать, играть надуманную роль... И между вами возникнет трещина... стена...»

«...старайся не болеть, не простужаться! Береги себя. Не выходи потный на сквозняк, если мучает бессонница, попей на ночь чайку, только не крепкого, или отваров каких...»

Господи, что же ещё она советовала, предлагала? Ах, да, сходить в церквушку неброскую, тихую и просто побыть там немного... «Не веруешь в Бога – не нужно, это ведь сугубо добровольное дело! Но постоять перед распятием, перед иконкой, возжечь и поставить свечу за здравие дорогих людей – так естественно, хорошо... И враз осенит нечто, и душой отдохнёшь... Будто прислонишься к чему-то надёжному, благодати и милости почерпнёшь... Сам оценишь – я не умею говорить красно...»

«...для меня Бог – всеобщая доброта. Для тебя – твоя Музыка!»

Он возразил было: «Она не моя, я ничего не создал, только пытаюсь передать людям чужие сокровища, хочу обогатить и себя, и других... Даже не знаю, как правильно выразить потребность такую! Мне вообще кажется иногда, что я эгоист! Хуже – вампир! Питаюсь энергией, которую вложили в звуки величайшие композиторы мира и благодаря этому существую... Иначе бы физически не смог прожить ни дня. Ладно, преувеличиваю, конечно, умереть бы не умер, только и жил бы как отщепенец, как самый последний доходяга... нищий...» И Наташа сказала: «Ни ты, ни я, никто не знает, на что способен, пригоден... Блаженны нищие духом! Смиреномудрие – наш крест земной. Заповедь. Ликование во спасение! Разве прежде догадывался ты, что, выходя на сцену, будешь получать от слушателей массу положительной энергии, что подпитка эта поможет тебе создать великое триединство: композитор – исполнитель – слушатель? Ладно, придёт час, вспомнишь меня – поймёшь...» Наташа словно заведомо пророчила ему сегодняшний день...

Что, что ещё она говорила?..

А дневниками они менялись. Но сейчас Бородину важны были не её записи, а живые слова! Не тот голос, который начинал звучать в нём по мере погружения в аккуратные строчки толстых тетрадей, скреплённых, сшитых из обыкновенных школьных, а незабываемые, мудрые и доброжелательные напутствия любимого человека, женщины – предвидения, заветы, ласковые речи... Он сидел подле небольшого холмика, а внизу, в земле, сравнительно недалеко

реально находилась, покоилась та, кого он справедливо считал *девушкой его мечты*... Но разве можно, мыслимо похоронить мечту??

Сам того не замечая, от тихо, горько плакал. И не знал, что Светлана в эти минуты наблюдает за ним. Когда увидела, что незнакомый мужчина вот-вот разрыдается, что слёзки робко, жалостливо скапывают на его брюки, обшлага рукавов, на землю, то подошла, присела рядышком, достала из сумочки носовой платочек и начала осторожно промокать им глаза чужого совершенно человека, который столь трогательно и беспомощно горюет по *её маме*.

Почувствовав участие этой девушки, оказывается, не просто похожей на усопшую Наталью, – являющейся вылитой почти копией последней, девушки, девочки! *встречи* с которой он не искал, ибо с недавних пор вообще не искал никаких *встреч*, почувствовав прикосновения тёплые к щекам, к колену... вдруг обнаружив, что она и голосом, и манерой поведения и ещё чем-то необъяснимым до невозможности напоминает, *возвращает* ему Наталью, он не выдержал – затрясся всем телом и ткнулся обессиленно в плечо подставленное, и обхватил стан девушки... и было Сергею Павловичу сразу и горько, и благостно, и зло его всего обуяло, и обида взяла на то, что незадачливо, неприспособленно живёт-существует, что сиротинушка ведь... «Простите!» «Прости...» – а рыдания не прекращались – «Никому не рассказывайте!» «Всё!..» «Сейчас... сейчас!..» – и продолжал низвергаться в душеспасительный водоворот... Кому теперь он нужен? Кому, кроме музыки, которую, как и мечту, похоронить нельзя.

Переоценка жизненных ориентиров, ценностей. Что это? Нужна ли она? Каковы её мотивы, первопричины, последствия? *Механизм*?! И ко всем ли приходит?! С чем сравнить, сопоставить внутреннюю душевную ломку, борьбу – с неудовлетворённостью, угрызениями совести, покаянием?? А не разновидность ли это всё тех же самообольщений, когда, обуреваемый гордостью? гордыней... ничтожной? выдаёшь желаемое за действительное и «сам обманываться рад»!

...Из всех поездок по многочисленным местам, где встречался с Наташей, наиболее взволновало Бородина ещё одно, второе, и, увы, без неё, свидание с небольшим подмосковным городочком Абрамцево, в котором уютно, на закраинке живописнейшей, расположена была усадьба бывшего российского капиталиста, мецената Саввы Мамонтова, вложившего немало средств в развитие и края, и талантов отечественных, а также с деревней Мутовки, расположенной неподалёку. Ранее Абрамцево называлось «Обрамцево», от слова «обрамление», поскольку поистине художественно, красочно обрамляли построечки реденькие величаво замороженные леса, взгорки, поляны, озёра... Затем по причине московского аканья «О» сменилось на «А» и название, чуть изменённое, дошло до наших дней.

Стоял солнечный, январский денёк. Деревья, кусты – в сверкающих балдахинах, под густыми белыми шапками, покровами – словно сребропенной волной охваченные от макушек до пят и застывшие так вместе с ней... Всё пронизано умиротворяющим, тихим звоном – лучи дрожащие предстают в воображении туго Натянутыми, невесомыми струнами, божественной дланью ПРОтянутыми для того именно, чтобы разносить по свету белому торжественный благовест, и ПРОтянутыми к Солнцу-Колоколу из воздетых к Богу сердец. Легко чем-то мелодичным в унисон вышним звукам отдавал наст, по которому хрустко раздавались одинокие шаги его, пустытника аки, Бородина... Раздавались? – может, раздаются, ибо по сию пору слышится ему тот с печалинкой хруст – будто потрескивала плоть ледяная... видится Фаворский свет... Он, свет этот, негасим, он соединяет, он вечно соединять будет пылающую мозаику мгновений мира и невесомые струны в осязаемый дивный пучок... Сергей Павлович медленно движется как бы параллельно сказочной аллейке – видит её, садовую, со стороны и мнится ему: видит и себя с Наташенькой, бредущими, за руки взявшись, по утопанной до него земле вниз, к мостику, поскольку в данный момент не ощущает собственного присутствия здесь: он гость из разлуки навечной, его подпитывает одно лишь видение ожившее – как они с Наташенькой гуляли тогда... Внезапно задирает голову – что это? Озарённая солнышком, верхушка ели в

шапке песчово-снежной превращается... превратилась в сияющее облачко, в ангельские оперения, в... Он продолжает спуск, любуясь окружающим, вдыхая волнительный аромат воспоминаний... Малохожеными тропами затерянно-не потерянно оба они отдавались райской белизне и чистоте ликующей подмосковного белозимья, когда в очередной раз встретились после почти годовой муки – терпеть и ждать. Он ловил в тишине зыбкой её голос – высокий, нежный... Ему тогда было трепетно жаль отлетающие с паром изо рта звуки, хотелось по одному ловить, хватать эти восклицания, фразы, смех, вздохи радостные, чмокание поцелуев, часто воздушных, в его адрес... и богатства всё новые, новые те, несказанные, заключать в объятия, потому что просто недоставало живой Наташеньки рядом, настолько пронзителен и заразителен был каждый миг с ней... Предчувствовал ли неминуемое скорое – беду? Сейчас, как и тогда, ответа не существовало.

Господи, Боже мой!.. Как давно и как недавно это было... было ведь!!

– Чёрт, в-во здорово!!! – вырвалось даже.

– Никогда не думала, что открою вдруг и так полюблю русскую зимушку-зиму, Серёжа! Кто бы сказал – не поверила бы!! Будто в пушкинской сказке очутилась! Столько впечатлений! Ты только посмотри, посмотри – во-он там, видишь, словно волчонок маленький, пенёчек и рядом ветка-хвостик в снегу! Ночью, кстати, при НЕВЕРНОМ ЛУННОМ СВЕТЕ, (она тогда закатила глаза – выглядело потешно, он запомнил – и голосом изменившимся, *жутким* говорить стала), ведь и напугаться можно, да ещё как напугаться!

– А давай придём! Захватим с собой пару бутылочек, бутербродики!

– Шутишь, Серёженька? Я ведь ужасная трусишка и ещё ужаснее хочу тебя, ХОЧУ-У ТЕБЯ-Я... СЪЕСТЬ!!!!!!

– Родненькая моя, только не сейчас, а то волчонку с ма-мой-волчицей ничего не достанется! Слушай, а ты не оборотень случайно? А то вот встречаюсь с тобой, встречаюсь и не знаю... А однажды в полнолуние окажется вдруг, что ты ликантроп, берендей... в юбке!! и тогда...

– Что и тебя пробрало?? Да в такой день!!

– Ох, пробрало, только не это... Знаешь, с тобой ведь только и живу. Почему так? Какая-то запруда во мне рухнула и я превратился в слабое существо: плачу, смеюсь... Мне хорошо, естественно... Столько натерпеться и – полное расслабление. Иногда я не ощущаю себя – я и не я. Кто-то другой, параллельный мне, ходит, разговаривает... Вот и сейчас... Какой я на самом-то деле? Хорошо мне? радостно, неповторимо? Или...

– У меня тоже так бывает, родной. Это вполне нормально, ничего странного в этом не нахожу. Главное – не думать часто об этом, не заикливаться...

– Как? как?!! не заикливаться, если я с рождения самого ощущаю собственную какую-то неполноценность, понимаешь? Не раздвоение личности, а именно неполноценность! Хоть убей, хоть тресни, Наташенька, девочка моя, не живу – продираюсь сквозь что-то чужое, костлявое. Взъерошенное и ошетилившееся... сквозь особый какой-то состав из душ бездушных, времени полозучего-загребущего, собственного непотребства! Чёрт бы всё это подрал!!! Наташенька, деточка, девушка моя крохотная! Ласковочка! Господи! почему люди так несчастны, так скудны и убоги друг с другом! Я сейчас заплачу, в последнее время стал частенько плакать... Знаешь, что-то прорвалось-таки!

– Не плачь, родной!.. Или – поплачь, иди сюда! Положи голову мне на плечо и порыдай даже... Здесь можно, кроме меня никого... Я вберу в себя твои слёзки! Тебе сразу и полегчает, вот увидишь! Ну, иди же, иди ко мне... Родной мой... не стесняйся... Я тоже всплакну... смешно?! Пришли любоваться природой – и нате вам, два дурачка, несмеян и несмеяна, расхныкались, всех белочек перепугали!

– Мне хорошо. Я просто счастлив. Просто счастлив. Я не знаю, кто я и что я, и какой... Не знаю... В эти вот самые мгновения с тобой меня... НЕТ!!!

И он громко, *истерично* почти разрыдался, обнял Наташеньку свою, которая лего-нежно-нежно поглаживала его ладошкой в умилительно-голубенькой и мягенько-пушистой варежке, совсем детской, – поглаживала по щекам, плечам, спине... и опять по лицу, смахивая бисеринки жгучие и улыбаясь задумчиво, грустно, ясно, улыбаясь сразу всему человеческому, что проступало наружу и что нельзя было спрятать в карман. Ибо не носовой оно платок!

– Это ничего, ничего, что ты плачешь! Почему-то принято считать, что мужчины не должны плакать, а это не правильно. Они ведь такие же люди. Маленькие, беззащитные перед мировым океаном страданий, скорбей, тоски, удушающего одиночества... Я много об этом думала, родной мой... и знаешь, если бы мужчины не стеснялись плакать, то и мир наш был бы лучше, чище: да-да! Я в этом убеждена. И было бы меньше женских слёз! Ага.

...Ноет, ноет сердце Сергея Павловича – медленными шагами приблизился исполнитель к тому самому месту, где *тогда* стояли они, склонив головы друг к другу, обливаясь очищающими слезами. Читатель, милый! Прости авторскую сентиментальность, прости и слёзы его главных героев – можно было бы обойтись и без эмоций страдательных, можно было бы... – да вот нельзя! Потому что слёзы человеческие – это, по сути, ненайденные, невысказанные слова, невыразимые звуки... Души осенней, наболевшей о, непостыдная капель!..

...Ноет, ноет сердце. Наверно, *тогда* впервые почувствовал он, Бородин, что у него есть сердце, что и у него есть сердце! которое способно болеть, болеть ласково, мягко, однако не отпуская... удерживая в паутине осязаемого, вполне физического дискомфорта в груди душу уплотнившуюся, то обрывая на секунду-другую незримые, призрачные концы, чтобы срывалась она, душа, с места, не находила никогда, нигде и ни в чём покоя, то на паутинке оной лениво-сонно душу и покачивая, и колыхая, и баюкая... Как сейчас, здесь, когда навестил он прошлое... Ноет, ноет сердце! И тогда, в Абрамцево, Сергей Павлович предельно ясно, чётко осознал, что все его предыдущие «накручивания», (цитируя Наташеньку), самого себя – лишь цветочки, невинные цветочки, а здесь что-то действительно обрамляло, что-то *обрамлено* – заточило будто навек, навсегда и отныне пребывать ему в сладостно-жестких тисках не названных ещё чувств, ощущений, сравнимых разве что с теми, кои переживает ольха, когда на её сквозных, тонюсеньких веточках дрожат... свисают... срываются одна за другой серёжки... Родина – вот что окружало Бородину в те благоговейные и радостные минуты. Сергей Павлович словно припал существом своим к отеческой земле, вобрал в грудь колыбельный воздух родимых широт... И даже это было не всё. Горе потери любимой женщины, личные неурядицы, самобичевания, некое *вытадание* из жизни, из ауры общечеловеческой становилось *выносимее*, легче, ибо уже не шестым, не седьмым, а непонятно каким чувством прозревал он в мгновения долгие пребывания тут истину высочайшую: музыкой, только великой музыкой завтрашнего дня можно и нужно передать непередаваемое *нечто*, обрамившее сейчас, в усадьбе абрамцевской, его, исполнителя – обрамившее и обострённо возвысившее пианиста над самим собой.

НО КТО И КОГДА СОЗДАСТ ТАКУЮ МУЗЫКУ??!

Вот он подошёл к небольшому тому мостику, где когда-то, прислонившись друг к другу, пребывали в молчании солидарном, восторженном оба и на котором вскоре утешала она его – Серёжу! – замер... застыл в окружении бездыханной и напоенной солнечной свежестью лепоты, сам весь в стеклянных слезах, сквозь которые, как и *тогда*, глядит на мир, и, ничего не понимая, трогает слегка покосившееся, ветхое ограждение – сподручник... ему и больно, и счастливо, и одиноко. Вновь отдаётся видению проступившему, прежнему: оба рядом, взирают молча на ручеёк, еле пробивающийся под льдистой корочкой, она отрешённо улыбается... Может быть, в те именно минутки принимала решение какое-то или уже знала о недуге своём, предчувствовала: оставит его, навсегда, но сообщать об этом заранее не следует – зачем тревожить, ещё, глядишь, всё обойдётся... Затем он тяжело, не спеша поднимается по собственным следам обратно, сворачивает к церквушке махонькой, входит под сень приимную, предварительно сняв шапку, попадает в перекрестье взглядов с иконок, созданных в разные

годы великими русскими художниками-передвижниками, ставит свечечку «о упокоении», не забывает подать милостыню... А слёзки не высыхают, он смотрит сквозь них, как через окно морозное, только вместо ледяного узора – прозрачный воск сплошной, и нельзя, нельзя смахнуть патоку солёную...

Вот он думает. Думает, а точнее, правильное – не думает, это ему только представляется, что мысли колобродят в нём. Зачем насиловать душу свою? От себя не убежишь. Он ещё не знает, что вскоре начнёт страдать сильнейшей бессонницей и никакие советы-ухищрения медиков не помогут, не исцелят. Он не размышляет в привычном нашем понимании – живёт мигом, пытается свыкнуться со случившимся, представить грядущее и... всё чего-то ждёт... Словно возникнет в отдаленье ОНА, его Наташенька, и они отправятся дальше и продолжат беседу о главном... Всплывает вдруг в памяти, как она, вселив в него энергию, жизнь! слегка занемогла – то ли атмосферное давление в день тот какой-то упало резко, то ли он действительно уподобился энергетическому вампиру, о чём с замиранием сердца её же и немедленно спросил, а успокоился лишь, получив отрицательный, подкреплённый светозарной улыбкой, ответ... Так или иначе, но пришлось им тогда отложить посещение небольшой деревушки, Мутовок, где в своё время проживал поэт Борис Пастернак, ею, Наташенькой, любимый... Бедняжке так хотелось попасть туда, однако рисковать не стали и единодушно поход перенесли. Эх! другие заботы, впечатления, хлопоты приятные за разговорами бесконечными навалились прямо из рога изобилия на обоих... и кто кого хотел отвлечь от хворобы летучей?! А потом они расстались... Теперь же, сейчас, в это его вторичное, без неё, посещение дорогих сердцу мест подмосковных он просто обязан, обязан! побывать в Мутовках. В память о Наталье. Она будет незримо присутствовать там... ибо всегда с ним, всегда в нём, в его испепелённой душе.

Через полчаса он уже в деревеньке этой, видит маленький, зелёный домик, в котором недолго проживал с семьёй великий русский поэт Борис Пастернак. Поражает деревянный балкон по-над самым оврагом, приходят на ум строки:

Когда на дачах пьют вечерний чай,
Туман вздувает паруса комарьи,
И ночь, гитарой брякнув незначай,
Молочной мглой стоит в иван-да-марье...⁵

Да, овраг, и «весь в черёмухе овраг», но только в черёмухе снежаной, январской, белокипенной под морозцем родимым.

Долго любитесь запорошенной трещинкой на земле российской и нехорошие предчувствия теснят грудь. Любовался – тогда. И скрадывались весёленькие солнечные зайчики, потому что овраг тот втягивал их в лоно своё, в нутро голодное... И что-то вспоротое мнилось Бородину – кровоточащее невидимым едким, *полозучим*, без роду-имени. Оно походило на туманный сквозной газ, и не бесформенный, стелющийся повсюду, но очертаниями внезапными-смутными ассоциативно вызывающий призрачный образ какого-то небывалого корабля, пытающегося выйти на сушу грешную из пучин безвременья... Остов сей, несмотря на кажущуюся бесплотность, отсутствие такелажа, прочих атрибутов, неостановимо надвигался грудью *струпяной* на берег и от движения того мурашки побежали по коже... легион мурашек и представилось ему, Сергею Павловичу: никакой это не корабль, а зверь допотопный выбирается из преисподней, откусывает пяди, крохи и – не давится, и всё мало, мало чудищу-ему... Страшной энергетикой разило от оврага. Не хотелось никуда идти – стоять бы и смотреть на зёв разверстый, бездонный почти, хотя внешне овражек сей ничем сверхгромоздким не выделялся: так, яма, яр, углубленьице, ну и что?!!

⁵ Строки принадлежат Б.Пастернаку

А то, что витало надо всем этим что-то тёмное, мистическое. Цепенящее...

«Господи! – пронеслось мимолётно – да где же взять слова, краски, звуки, ЗВУКИ МУЗЫКИ, чтобы постигнуть и передать *такое???*»

... Вот он стоит над оврагом, может быть, на том же самом месте стоит, где несколько десятилетий назад стоял Пастернак, и знает, уже *знает*, что и от него, от Бородина, какая-то неведомая сила отрывает целые крохи, *куски*, до того момента им же самим от себя оторванные, дабы оставить их в ком-то, в чём-то... – *куски*, которые были следствием его постоянного *разрывания* себя на части, неугомонного самокопания – а как иначе?! Ведь Россия, Родина, Советская его Родина – в нём, всегда в нём, он суть плоть от плоти их... Как иначе?! Ведь без сопереживания, со-переживания немыслима и переоценка ценностей, жизненных ориентиров! А процесс оный в душе исполнителя начался, отрицать нельзя – исподволь, подспудно – начался. Сергей Павлович ещё не отдаёт отчёт тому, что же именно, какие-такие пласты пришли в движение, однако знает: лично он жить станет лучше, иначе, насыщеннее и плодотворнее – за себя и за неё, Наташеньку... Знает, что...

И вдруг с потрясающей ясностью видит: людей наших ждут смуты, испытания... недалеко, увы! грозное завтра...

«Ещё одна война? – спрашивает ни у кого, – но почему, за что?!»

А небо давно заволокло мрачным, низким пологом, солнце пропало, сгнуло в хмари сплошной и равнодушнобезжизненный, *гальванический* свет будто вдавил вся и всё в ложе земное...

Если бы только это!

Бородин с особенной отчётливостью понял: ему хочется броситься в этот овраг, остаться там навеки... На дне.

Одному ли ему???

... Сергей Павлович побывал везде, где в годы былые встречался с Наташей. И всякий раз охватывало его волнение. Смешанное со скорбью, безнадегой полнейшей, отчаянным желанием повернуть время вспять, воротить не иллюзию прекрасную – упиться несбыточностью страдальческой! О какой переоценке ценностей вообще можно говорить? Что такого глубинного, стержневого, от ипостаси человеческой[^]) изменилось в нём? Стал сдержаннее в выражении чувств, желаний? Перестал знакомиться с молодыми девушками и женщинами? Нет, хотя и здесь начала проявляться некая мудрость, отеческая забота... Но в целом всё оставалось по-прежнему. Только с большей жадностью, яростью набрасывался на клавиатуру, чаще гастролировал по стране, по всему белому свету, выступая с большими сольными концертами перед любителями классической музыки. Переживая в ходе исполнения музыкальных шедевров заново судьбы великих мастеров, невольно утолял и собственную душу... Конечно, такие разъезды требовали огромной самоотдачи, выматывали – физически тоже. Однако приносили облегчение, отвлекали от постоянных гложащих мыслей об утрате... Разумеется, утверждать, что он перестал нуждаться в женской ласке, в чутких прикосновениях, в добрых словах, любящихся из родных? чужих? уст было бы неосмотрительно. Преждевременно.

В течение года он совершал этот свой прощальный круг, в двадцати шести населённых пунктах побывал, останавливаясь в тех же самых гостиницах, в тех же самых номерах, что и когда-то с НЕЙ. Зачем ему это было нужно? Ради неё ли, во имя светлой памяти о Наташеньке своей мотался снова и снова по городам и весям, истязая, мучая себя, *искупая* несуществующую вину? Или существующую... Существующую и усугубляемую!

Сейчас, прислонившись лбом к оконному стеклу, немолодой, всемирно известный музыкант не мог, не мог да и не желал отвечать на сакраментальное «почему?». Значит, так было нужно. Нужно... Ему. Он успокаивал себя этим словом – «нужно». Повторял его до бесконечности и что-то внутри озарялось вечным мерцанием – наверно, каждый человек совершает, обязан совершить неординарный поступок, ему несвойственный, удивительный даже для него

самого. Иначе потом *просто* нечего будет вспомнить. Это ежели – «просто». А если всерьёз, то ведь человек – это нечто вполне сложившееся, сформировавшееся. Человеку «до зарезу» необходимо сознавать собственную исключительность, реализовывать право на ошибку, на риск, на Поступок. Он многогранен, неисчерпаем, посему горазд на такое, чего сам от себя ожидает менее всего. Он гармоничен. Поступки и проступки его органично связаны и друг с другом, и с прошлым... Они то ли коптят небо, то ли очищают синеву лучезарную над будущим, которое грядёт и нередко приходит внезапно, обрушивается, как снег на голову... Он гармоничен, да, и в нём с рождения заложен инстинкт самосохранения от лени протухшей, от заведённости, подобно белки в колесе, мчаться по кругу, наконец, от зависимости рабской – покорности слепому случаю, обывательскому толку, мещанскому равнодушию... Он – Человек.

ЧЕЛОВЕК.

И всё, что ему нужно – оставаться ЧЕЛОВЕКОМ.

... Бородин отошёл от окна, где довольно долго стоял, погружённый в свои мысли-воспоминания, навеянные прежде всего музыкой Глазова, теми первыми самыми звуками, гармониями, что «считал» с присланных ему Анатолием Фёдоровичем нот, а после наиграл для себя правой рукой.

Не только прилив сил внутренних и эмоций ощутил он при этом. Над многими вопросами, кои мучали прежде, словно бы приподнялись мутновато-дымчатые завесы. И действительно, почему человека неудержимо тянет посетить, навестить края, урочища, земли, где бывал, жил, с которыми связано либо хорошее, либо... Говорят: убийца также влечёт на место преступления! А не являемся ли мы невольными палачами, губителями собственных жизней... судеб? Существоем часто безотчётно и лишь иногда мудро выживаем из прошлого те мгновения, которыми распорядились особенно легковесно, необдуманно, бездарно? И не потому ли происходит умозрительное возвращение наше на пресловутые круги (своя? не своя?!), что подсознательно желает живущий каждый перечеркнуть, уничтожить последующий промежуток времени, отрезок суженого и всяко пройденного пути, как нечто *фоновое*, несостоявшееся, *тянущееся* эхом, отголоском слабым и рождённое из подлинно звёздных часов, когда был на гребне, на белом коне!! Пусть даже не из часов прекрасных возникшее, а из суток, недель, реже – месяцев, лет... Ведь только тогда, мнится, был он по-настоящему счастлив, а позднейшее – чистой воды времяпрепровождение, полоса [чересполосица!] сплошных сумасбродств, неудач, пустых обещаний, бесплодных усилий, упований, отчуждения... возможно, расплат за грехи-грешки. И чтобы вновь почувствовать свою полноценность, чтобы пережитить, обмануть самого себя иллюзией приторной, мол, ничего плохого, посредственного в судьбе не было, а чаши весов, сакральных и далеко не призрачных, уравновешены, он, человек, и ныряет в детство розовое, в отроческие годы, куда-либо ещё... Тщетно пытаюсь вдохнуть упоительный воздух якобы *сбывшегося*, бросается... в *засывище*, в полымя, ибо нельзя в одну и ту же реку войти дважды, а в реку Жизни – тем паче заказано сие, исключено! В полымя кидается он из жарыпыла вчерашнего, поскольку в том чудесном прошлом на поверку оказывается столько было не идеального, не гладкого! Но память почему-то закрывает глаза на отрицательные стороны, моменты и услужливо, жалеючи, подсовывает сердцу образчики наичистейшего, светоносного, добропорядочного (редкие шероховатости не в счёт...)! Почему? Ответ прост: человек постоянно самоутверждается, а лучшим материалом для этого служат как раз положительные чувства, впечатления. Когда же мы в стрессе, в зашоренности, в тоске и в покаянии вечном, в раздумьях мучительных, память всеядна. Работает против нас... Однако иногда нам удаётся ловко подчинить её воле, умонастроениям своим... Или – кажется так. Вот и подпитываем угоревшие, обожжённые сердца надеждой наоборот! И ещё одно понял Бородин, отошедший от окна: будучи в тех населённых пунктах, где когда-то предавался любви с Наташенькой, он уходил от настоящего, на тот момент – *нынешнего*, он спасался в хрупкой, вместе с тем и проч-

ной скорлупке, прикрывался ею, будто панцирем, от ударов судьбы, самобичевания, тягот одиночества, в том числе и холостяцкого... Не без Наташиной помощи построив из слов, прикосновений, взглядов, жестов уютный домик на двоих, построив *шалашик* отдохновенный и милый, он теперь (знал ли, что будет так?) находил в нём единственный овеществлённый, для него не призрачный синоним домашнему очагу – малую родину. Там, в гостиничных номерах, на тропочке абрамцевской, в Мутовках, даже на мосту ленинградском... там, на не забытых улочках, в сквериках глубинки городских он был не одинок, рядом всегда присутствовала её, Наташи, родненькая тень, её голос напевно звучал, звучал, то ответствуя, то вопрошая, то примиряя душу исполнителя с окружающим, а то и ласково, совершенно безобидно подшучивая над превратностями судьбы...

Там был его дом.

ДОМ ДУШИ ЕГО.

И ещё: Бородин уходил от себя, от прошлого *вне Наташеньки*, от того безобразного, униженного, измороженного прошлого, которое тянулось и тянется за ним неотступно, преследуя по пятам больное нутро, самой сущность. Он уходил во встречи, *встречи* с ней, как в МУЗЫКУ или в воспоминания, шагал странную, и проторенной ненайденной сразу дорогой, потому что самая жизнь каждого из нас – суть движение... Ход.

Или – уход.

Поиск выхода...

3

...Расставшись с дедом Герасимом, оказавшись в школе-интернате, Серёжа вступил в полосу сплошных душевных и, к сожалению, физических страданий. Как и с чего всё началось, ни он, ни другой кто объяснить не смогли бы. Конечно, многое решил проклятый тот паровозный гудок, случайно совершенно прогремевший в тот момент, когда Серёжа с кем-то из взрослых находился на перроне. Мальчик потерял сознание. Потом чуть ли не месяц заикался... Но главное заключалось в другом, хотя всё в жизни взаимосвязано. Ни один психолог и педагог, будь он семи пядей во лбу, наверняка не сумел бы определённо сказать, в какой миг, из-за чего именно дети начинают ненавидеть, *травить себе* подобных – каким таким дьявольским чутьём угадывают неполноценность ровесника, ровесницы, его (её!) неспособность дать отпор насилию, неумение просто постоять за себя. Наконец, образом каким ощущают собственную ненаказуемость, которая развязывает им руки, способствует усилению глумления над сверстником... однокашником... Делает «героем» в глазах ребятни.

Игорь Палищук являлся одним из тех подонков, которые регулярно, садистски избивали Серёжу практически ни за что. Сказать, что Палищук этот был здоровее, амбалистее, занимался боксом – нельзя. Равно как и утверждать несомненное лидерство хлопца в классе. Только от постулатов оных Серёге нашему ни холодно, ни жарко не приходилось – было больно. В самом прямом смысле – больно. Ибо бил, избивал его Игорь тот не за понюшку табака. НО ЗА ЧТО?!

ПОЧЕМУ дети ни с того ни с сего начинают измываться над другими детьми?! Самоутверждаются за счёт чьих-то слёз, комплексов, при этом не задумываясь об эффекте бумеранга? В более поздние времена учёные станут убеждать, что маленькие дети, до 2–3 лет, обладают некими особенными, паранормальными, суггестивными способностями видеть, ощущать на тонком, астральном уровне ЧТО-ТО НЕОБЫКНОВЕННОЕ... Тема данная носит характер противоречивый, сложный. Многогранный. Одно, к горечи вящей, очевидно и прискорбно: с возрастом *научаются* они подлой нетерпимости к слабостям товарищей своих, ближних, вымещают на последних собственные тайные недуги душевные...

Итак, Палищук. Он третировал, унижал Серёжу. Обожал бить его носком ботинка по ноге. Плевал в лицо, а Серёжа... боялся дать сдачу. Боялся изначально, с какого-то первого раза, о котором, хоть убей, не припомнит впоследствии... Как будто всегда так было – Палищук или прилюдно или с глазу на глаз измывается над ним. Серёжа терпел боль, плакал, оставаясь в одиночестве горьким, представлял себе, что рядом с ним – красивая, хорошая до невозможности девочка – утешает, говорит ласковые слова, гладит ладошкой... Серёжа рос странной, во многом дико неполноценной жизнью! Узнавал и не узнавал сам себя в Зазеркальях немых, когда походя заглядывал на отражения собственные в серебристом глянце – кто это? я? Незнакомец какой? Старался избегать встреч с двойником *оттуда*... Но порой подолгу изучал себя, стремясь проникнуть за грань зыбкую и непостижимую...

Однажды против него в одночасье почти ополчился весь класс, точнее – мальчишки. Вспоминать детали, вдаваться в подробности – зачем? Сейчас, по прошествии стольких лет, он держал в памяти одно: какую-то записку, переданную ему прямо на уроке этим самым Палищуком. Записку, где чёрным по белому говорилось: ближе к вечеру на пустыре, что неподалёку от здания школы, с ним будут выяснять отношения практически все одноклассники. Мол, пусть готовится! Мало не покажется... И тогда на виду у коллектива, смакующего душевные страдания, предвкушающего испуг, отчаянье «белой вороны», он, Серёжа, хладнокровно, не дрогнувшими руками разорвал на мелкие клочки лоскуток бумаги с угрожающими словами. Он хотел рыдать, хотел уткнуться в колени хорошей, красивой, доброй-предоброй девочки – Оленьки! той самой Оленьки... – но только демонстративно ухмыльнулся, в глубине души понимая, что совершил поступок, настоящий, смелый, за который предстоит расплата буквально кровью и новыми слезами. Кровью из носа и новыми слезами...

Вечером, когда контроль над детьми несколько ослаб, он без понуканий со стороны «товарищей» отправился на задний двор, переходящий в пустырь, где собирались ребята – не только интернатовские. Встал один на один – против всех. Чувствовал себя героем? устал бояться и униженно сносить постоянные издёвки? Был полон глухой решимости хотя бы одного мальчишку придушить, выцарапать хотя бы одному гадёнышу зенки? Внутренне признавал, что прощается с детством, что дальше *так* жить просто себе же дороже? Любое из объяснений верно, ибо каждое соотносилось с тогдашним состоянием отрока...

– Ну, что, очкарик, что надумал?

Серёжа был близорук и носил очки, которые ему часто разбивали, и вопрос этот адресовался именно ему; оказывается, в утренней записке, переданной через Палищука, содержалась некая *альтернатива*, наличествовала возможность выбора, он же, демонстративно и уверенно порвав тот листок, автоматически, разом отмёл их от себя, отмёл, не задумываясь, гордо отмёл и «геройство» это, кстати, не показушное, красивое, а проявленное вполне естественным движением не могли не оценить («заценить»!) парни. Вот они и предоставили ему шанс оправдаться, вымолить буквально на коленях прощение у коллектива...

– Чего молчишь?

Он стоял против пятнадцати, может, семнадцати пацанов, стоял в нескольких метрах от них и чувствовал пустоту. На него *навалилось* безразличие... Безразличие ко всему, что может произойти, граничащая со смертельной усталостью и скукой отрешённость, наплевательский «пофигизм». Тупо смотрел сквозь стёкла с диоптрием на всё более растущую толпу и – ждал.

– Мы что, его бить щас будем?

– А то нет?!!

– Да ну-у! Неинтересно даже.

– Пускай один на один с кем-нибудь подерётся!

– С тобой! Дерись с ним!

– А чевай-то я?

– Зассал?

– Да нет, могу, раз хотите, только неинтересно...

– А мы поглядим, ага?

– Ну!!

И тогда Серёжа неожиданно для самого себя сказал:

– Давай подерёмся. Прямо сейчас.

Тот, на чью долю выпало расплачиваться за собственную же инициативу, странно как-то поглядел на Серёжу, потом:

– Место плохое! Нужно подальше отойти! А то всё как на ладони видно.

– Пошли. Пошли подальше!

Кто-то из парней приблизился вплотную к Серёже:

– Не бойсь, Серый! Он тебя сильно бить не будет!

– Я не боюсь. Я согласен драться когда угодно и где угодно.

– Слышь, пацаны, пошли подальше! Серый будет драться. Чё, Мурза, не передумал? Ты только не сильно его, а то сам знаешь...

– Ну что, пацаны, пошли подальше!

– Айда!

– Смотрите, шоб Серый не сбежал!

– Серый сказал, что будет драться когда угодно и где угодно!

– Всё равно смотрите за ним! Сказать-то со страху-сдуру сказал, а вот возьмёт, да улизнёт!

– Не улизну.

Спокойно, с отчаянной, но не деланной решимостью произнёс Бородин и зашагал бездорожьем в сторону от пустыря на задворках. Он совершенно не боялся того, что предстояло – был готов сразу же, первым нанести удар ногой в пах Мурзе, потом ринуться на врага(!) и бить, бить, иступлённо бить куда попало обеими руками, если понадобится, вцепиться в глотку... душить, душить... выдрать волосы, располосовать ногтями харю... выдавить глаза... Главное – первым и сильнее ударить носком ботинка ниже пупка, в самое причинное место, и он ударит, не сомневайтесь! Мало никому не покажется. Да он сию минуту готов двинуть со злости – «по яйцам», одним махом расчитать за все былые обиды, зуботычины, унижения и страдания, неужели действительно «белой вороны»?! За плевки, оскорбления, синяки на ногах! За тот долбаный гудок, который сломал всю его жизнь, превратил детство в сплошной кошмар. «Неинтересно»! А мне как раз интересно!!!

Шагал крупно, внешне совершенно спокойно и уверенно, и очень *целенаправленно*. Не оглядываясь. Словно его вызвали к доске и сейчас будет мелом что-то на ней изображать... Наконец, отойдя макарком таким ещё метров сто-сто пятьдесят, позволил себе остановиться, обернулся...

От большой группы сорванцов, намеревавшихся побить его, хрупкая горсточка осталась, меньше половины – заядлых драчунов. Мурзы среди них не было.

– Да ну, он тебя одной левой зашиб бы, потому и ушёл, сказал, неинтересно ему!

– А чё тут интересного? Семеро на одного?!

...Что случилось дальше, потом, он Сергей Бородин, забыл – запечатлелось только миражное воспоминание: кто-то похлопал его по плечу (может, просто положил на плечо руку?)... Несколько дней он был героем в классе, пока на волне этой не докатился до прежнего своего положения – «белой вороны». А однажды всё тот же Палищук опять больно ударил его ногой по голеностопу и Серёжа со слезами на глазах проглотил выпад сопливого ублюдка. Но самое страшное подстерегало впереди: пацаны как-то достали чёрт знает где колючую проволоку и привязали её Серёжу к забору какому-то, после чего измывались над ним, сверх меры глумились... Конечно, Мурза находился в первых рядах.

Конечно, были и другие примеры, только зачем акцентировать внимание на мерзости, берущей начало своё в стадных инстинктах неблагополучных детей? Тем более что кошмар-

ный сон этот сменился на относительно спокойное пребывание парня в квартире Анастасии Васильевны, загоревшейся желанием видеть в жильце своём музыканта. Но... тут начинается очередная страница судьбы Серёжиной, перевернуть которую, не прочитав, также нельзя. Его подстерегало бесчеловечное, подлое отношение к нему главы семьи, хозяина дома – Бокова Виктора Петровича, (напомним, что имя-отчество последнего Сергей впоследствии забыл начисто!), который поначалу был нейтрален, равнодушен и вроде бы не замечал паренька, но впоследствии стал понемногу доставать-допекать намёками о бесперспективности занятий музыкой, наконец, попрекать куском хлеба, а когда Серёга наш в сердцах заявил, что в интернате его бьют, издевательски к нему относятся, то и сам перешёл к аналогичным действиям. Стал втихомолку наказывать мальчика за те или иные детские провинности, шалости, которых со стороны последнего, прямо скажем, было не так много. Что вымещал на бедном сироте взрослый, сложившийся мужчина – неспособность иметь собственного ребёнка, глухую зависть к одержимости юнца (проявленной позднее, после знакомства с Головлёвым], меркантильное настроение, то бишь, элементарную жадность?? Скорее всего – и то, и другое, и третье. Так ли иначе, но пребывание в доме учительницы превратилось для Серёжи в сущую пытку. В ад.

Как-то раз, наводя порядок в квартире, Анастасия Васильевна натолкнулась на антресолях на игрушечные кубики, приобретённые невесть когда ещё её старшей сестрой для собственного чада и почему-то оставленные-забытые здесь. Кубиков было много, ярких, отливающих радужной палитрой и служащих бесценным строительным материалом при сооружении домиков и возведении башен(!) Не раздумывая долго, женщина отдала чужое добро это Серёже – пусть на досуге возится, правда, забава сия не по возрасту ему будет, но... чем бы дитя не тешилось... Кабы знала, к чему легкомысленная доброта спонтанная приведёт! Во-первых, сам, Виктор Петрович, всю плешь проел да уши прожужжал: зачем балуешь, не заслужил, и так хлеб даром ест, он тебе кто – сын родной?.. Ладно, тут полбеда. Но однажды...

...в отсутствие Анастасии Васильевны Серёжа, оторвавшись от пианино, причём, не без вмешательства хозяина дома, решил от нечего делать отгрохать из кубиков вожаделённых высокую стелу. И с упоением искренним за работу принялся. Взметнулась то ли вышка, то ли колоколенка импровизованная выше его роста, потому что верхние «кирпичи» укладывал, залезая на стульчик вращающийся, круглый, предназначенный стоять возле ф-но. Конструкция сия мальчику в целом понравилась и по детской простоте своей решил поделиться радостью редкой с тем, кто устал от «вечных гамм ваших». Нехотя, припозёвывая, вышел Виктор Петрович из спальни, где проводил большую часть свободного, «личного» времени за чтивом досужим...

– Ну и что? Башня как башня, ничего такого...

– Я её аккуратно строил, чтобы не рухнула. Трудно, зато стоит теперь надёжно. Вот как я её делал, смотрите!

И что тогда дёрнуло Серёжу развалить гордость рук золотых – да, что? Показать захотелось процесс воздвижения чуда света нового, решил похвастаться! Словом, с грохотом домашним рассыпалось на кусочки вавилонское диво, и взбешённый произведённым шумом супруг Анастасии Васильевны избил Серёжу. В первый раз. Ремнём. А потом лупил его регулярно.

Побои, оскорбления, издевательства и в школе, куда продолжал ходить, ведь учёбу никто не отменял, он только ночевать перебрался к «училке», и дома... Плюс обиды. Обида – это когда тебя лишают того, что доступно всем и каждому. Когда натурально обделяют теплом, называя отношение доброе, хорошее медвежьей услугой (налицо двойные стандарты и явный перекоп в осмыслении и ценностей жизненных!), хуже: когда, наконец, благие намерения и необходимость святую, общеизвестную напрочь подменяют циничным гонением, остракизмом! Для полноты картины: праздники новогодние Анастасия Васильевна и Виктор Петрович регулярно встречали в гарнизонном доме офицеров (осталось добавить, что сам носил звание

майора и служил в одной из здешних войсковых частей], где оба организованно веселились, а Серёжу перед этим запирали дома, ведь в школе-интернате его, не дай Бог, побьют, и мальчик, прижавшись к оконному стеклу, глядя на огни ёлок, разноцветно горящие в соседних домах и лучиками весёлыми-яркими пробивающиеся в морозную предполночь, взирая на суету, какую-то вокзально-праздничную, слыша смех, шутки, разноголосицу горожан, спешащих к очагу ли родному, в гости, угадывая сердечком растущее напряжение волнительное, в коем пребывает страна, весь советский народ – ПЛАКАЛ ГОРЬКО... Брошенный, никчёмный, не от мира сего!

ПЛАКАЛ неутешно, после чего садился за фортепиано и, откинув крышки обе, начинал изливать звуками душу. Ему становилось понемногу хорошо и только одного не мог взять в толк Серёжа: где оно, *счастье* – здесь, в одиночестве, в наплывных гармониях нежных, или – там, среди ряженных Дедов-морозов со Снегурочками, такими ласковыми, красивыми, стройными у прекрасных ёлочек в игрушках на фоне блестящей кутерьмы, аттракционов, подарков необычайных, в том числе и сладких?..

Можно долго, пространно рассуждать на тему становления личности. Избываемый, презираемый, ненавидимый всеми почти (так ему казалось!), он, Серёжа, делал себя сам. Погружался в книжный мир, подумывал о суициде, с головой уходил в музыку, искал ту, кто приютила бы ущербную, косолапую душу его – и оставался при этом чистым, добрым, нетерпимым к насилию, злу. Он научился обострённо воспринимать людей, видеть глубже и утончённее чувствовать всё то, что происходит вокруг...

Шли годы. У него появился ДРУГ. Полная противоположность Сергею. Коля Торичнев. Точнейшая копия Шерлока Холмса – предельно конкретный, практичный, занимался фотографией, увлекался радио, показывал фокусы, пантомиму... Конечно же, Сергей идеализировал Николая, однако было за что. Например, мало кто из фотолюбителей имел у себя дома около 50 (пятидесяти!!) всевозможных химикатов, из которых сам делал для нужд своих различные проявители, белители, фиксажи...

А потом – потом появилась и ОНА, Наташа Родионова...

ДЕВУШКА ЕГО МЕЧТЫ...

Стало легче жить на белом свете. Было кому отвести душу. Поплакаться в жилетку. Он стал неплохо (на любительском уровне!) играть в шахматы, до самозабвения полюбил футбол, который в те годы только набирал обороты и завоёвывал любовь, популярность у миллионов соотечественников...

...Шли годы. Не шли даже – летели! И вот теперь, когда Натальи не стало, когда, казалось, обрушился мир, почернел небосвод, он, Сергей Бородин, вдруг как бы нырнул – но не в прошлое, *такое*, а в гостиничные номера, где, мерещилось! легко и нетленно бродят призраки, добрые, милые, раскло-нированные памятью ли, воображением призраки, щедро и совершенно ненавязчиво оставленные той, кто шагнул невесомо и безвозвратно из сбывшейся (такое возможно?) мечты в ностальгический мираж. Нырнул в комнатёнки казённые, где сбрасывал кожу и снова становился счастливым...

– ...Скажи, почему ты нуждаешься в этих твоих встречах, знакомствах, связях с посторонними совершенно девушками?

– Они помогают мне. Помогают освободиться от чего-то избыточного, нехорошего, причём, поодиночке никто из них не выдержал бы груза, который тащу... столько лет! Я растворяюсь в них. И знаешь, каждая – звучит, звучит на свой лад, на свой манер, подобно музыкальной пьесе, которую в данный момент осваиваю, изучаю... Девушка-фуга, девушка-сонatina... Девушка-вальс... Ведь к произведениям, этим, другим, я часто питаю довольно странные чувства, а к девушкам – очень отеческие и очень-очень... щедрые, щедрые на меня, щедрые на то человеческое, что произрастает во мне и стремится к людям, на свет... Порой не знаю, как относиться к девчушкам этим, дочерям... женщинам... Мне просто нужно быть таким, быть

с ними, и всё тут. Понимаешь? Иногда они заменяют мне тебя... А иногда, страшно сказать, они кажутся мне продолжением меня самого... Вот ка-ак...

– Понимаю...

– Ревнуешь?

– Что ты?!

Это её «что ты» в очередной раз больно полоснуло его по живому: почувствовал и ничьёмность свою, и какую-то нереальность происходящего вокруг, творящегося с ним. Особенно же остро ощутил её, Наташеньки, благородство жертвенное, целомудрие, чистоту алмазную...

– Странный ты человек... И нужна мне, господи, как же ты мне нужна!

– Так ведь это самое главное, родной... Ну-жна-а-а...

– Знаешь, наверняка кто-нибудь толстокожий, разбитной ляпнул бы сейчас, мол, он, то есть, я, бабник первостатейный, а она – ты, не имеет элементарной девичьей, женской, суть не меняется, гордости...

– Ты же...

– Я? Я думаю, что никогда нельзя быть категоричным и однозначным в оценке человеческой личности, поступков наших... Легче всего оскорбить, обозвать, приклеить ярлык. Вот поддержать ближнего, предварительно его поняв хотя бы на столечко (показал кончик мизинца), помочь... Это куда сложнее!

Ткнулся губами в её предплечье, мягенькое, отдающее чем-то невостробованно-материнским – хорошо, обетованно стало... Продолжил:

– А по-моему, даже молоденькая девушка, вчерашняя девочка, по отношению к любому мужчине питает частенько чисто материнские чувства... Природой дано... заложено, а может, просто души у вас, у девушек, женщин, гораздо нежнее и мудрее, отзывчивее и трепетней... А?

– Иногда это происходит подсознательно. Мы... как бы пробуждаемся, в нас просыпаются глубинные чувства – нет, не жалости, не сострадания, хотя и они присутствуют... Просто поднимается во весь свой рост что-то древнее, исконное, чего мы и сами в себе не подозревали, чему не придумали названия...

– А сейчас... у тебя... тоже? Мне так уютно... здесь... Тепло... Дивно!..

– Сейчас? Глупышенька ты моя! Я ведь твоя половиночка! И не стесняюсь тебя. Мне хорошо от того, что хорошо, люблю тебе. И чем тебе лучше, тем счастливее, богаче я. Вот так, мой родной! Просто?

Разговоров, подобных этому воркованию чудному, было превеликое множество. Да они обсуждали всё: от летающих тарелок – до самых интимных, сокровенных тайн друг друга, находя взаимное облегчение в доверительном тоне, в душевной близости, в такой близости, когда глаза в глаза, ближе некуда... когда срастаются и сливаются в единое целое два мира человеческих, две жизни... Что облегчение?! Им надо было видеть каждую чёрточку лица напротив, читать со дна мерцающего родимых очей поддержку, понимание, прощение! И – великую, *изумлённую* радость от осознания *полёта* над вселенными, сосредоточенными в каждом из них. Им нужно было читать пожары в глазах своих – пожары пламенные, прекрасные, протуберанцевые, захлёстывающие фантастическими волнами света и *благодарения*...

– Серенький! Не скажешь, почему художник слова жаждет немедленно прочитать своё очередное удачное творение людям?

– Наверно, в поэтах много детского, впрочем, как и в представителях других творческих профессий. Ребёнок тоже делится с мамой или с папой своими первыми открытиями, показывает и, заметь, без хвастовства, что он только что построил, из кубиков, из мокрого песка, из конструктора... Ты знаешь, то, что тебе сейчас скажу, наверняка не ново и странно, но мне кажется, что одарённые, творческие натуры – те же дети. А в роли мамы и папы выступает перед ними всё человечество.

...Сергей Павлович приблизился к роялю. Новый вал воспоминаний обрушился (иначе не скажешь!) неистово, внезапно. Города, города, города... Дороги, дороги, дороги... И опять – города и дороги... сколько их! В прежние годы мнилось: не меньше, чем людей! И все они – это одна-единственная бесконечная дорога, которую никогда не осилишь, не пройдёшь, потому что нет у неё ни начала ни конца и называется она жизненным путём, проложенным через трущобы и дворцы, пустыри и проспекты магистральные. Проложенные до нас и прокладываемые нами... Он вспомнил, как однажды пришла к нему домой Наташина дочка, Света, благо тогда, после второй их встречи на кладбище, оставил ей свой адрес московский (со временем перебрался в столицу!), правда, прибавив, что застать его на месте она сможет в случае везения огромного. Что ж, девочке подфартило!

– Удочерите меня, Сергей Павлович! – то ли в шутку, то ли всерьёз попросила вдруг, когда сидели-чаёвничали в его необжитой, совершенно холостяцкой квартире, предоставленной Мосгорисполкомом по ходатайству Союза композиторов, и от гостыи, хоть и принявшей с дороги ванну, веяло именно дорогой, даже двумя дорогами – одной, проделанной только что из провинциального городка в столичный град, а второй – не дорогой, скорее ручейком, отросточком той самой единственной Бесконечной Дороги, которая в былые годы часто представлялась ему Жизненным Путём. – Знаете, у меня ведь никого теперь нет...

– Несчастные мы с тобой! – Он кисло улыбнулся и положил широкую ладонь на слегка шероховатую кисть. – Отморозила? – спросил участливо.

– Да, пару лет тому... По глупости!

– Расскажешь?

– Ничего особенного! Заигралась с подружками, варежку потеряла... Пока искала... А морозец был знатный. Вот и угораздило! Мы тогда снежную крепость у мальчишек с боем брали!

– Успешно?

– Не-а! Зато впечатлений разных надолго хватило! Начитались Гайдара, комендантами снежной крепости все стать хотели...

Светлана живо напомнила ему Наталью – воскресшую, родную! Засаднило в груди... Хотел было признаться в ощущениях нахлынувших, противоречивых – сладостных и пыточных сразу, однако она опередила:

– Я вам напоминаю маму... то есть, её?!

Вздыхнул, кивнул.

– Знаете, мама была очень одинока. К ней почти не ходили мужчины... Вы меня понимаете? Так, старинные бабушкины друзья. Бабушка, кстати, тоже совершенно одна жила.

Папу я не видела уже много лет... Он и на похоронах не был. Знаете, Сергей Павлович, мне часто кажется, что на семье нашей лежит, так сказать, тяготеет какое-то проклятие... Я боюсь остаться одна. Боюсь, что продолжу судьбу бабушки, потом мамы... Вы понимаете ведь?

Смотрела в его глаза, он тихонько поглаживал кисть её руки, перебирая доверчивые, детские совсем пальчики нежно-нежно, словно клавиши чудесного рояля.

– И что мне делать с тобой?

– Любите меня.

– Я ведь тебя совершенно не знаю.

– Вы знали мою маму, а я не только внешне похожа на неё. Мы с ней были неразлучны, а любили друг друга, как сёстры. Ближе неё у меня никого не было.

– Ты дивная девочка, Светланка! И ты стала мне особенно дорога после того, как помогла мне там, на кладбище... Сам не знаю отчего, последнее время часто плачу... или не плачу, не рыдаю – просто на глаза наворачиваются слёзы... Так и тянет зареветь, дать выход чему-то внутри... И постоянно жалко кого-то, а прежде всего – себя. Эгоизм?..

Он что-то говорил, говорил тогда, в тот не поздний ещё час, говорил... а она внимательно слушала, сидя в такой же позе, какую некогда принимала Наташенька... Он воодушевился, стал откровенничать, на что-то сетовать, превращаясь в обидчивого, слегка занудливого, предельно искреннего максималиста, которого покойная знала, любила больше жизни, сохла по которому в часы прогорклого одиночья, недоступная и целомудренная для большинства других мужиков.

– И почему вы не уговорили маму выйти за вас замуж?! Почему оставили её одну?

– Но ведь она была замужем... правда, недолго. И ты – плод её брака с твоим отцом – почувствовал корявость фразы, по сути верной, смутился. – Ты меня упрекаешь? Вiniшь?

– Имею ли право? Не судите, да не судимы будете! Кажется, так говорят православные... христиане... кто там? Вы сами всю оставшуюся жизнь будете осуждать себя за мягкотелость, за эдакую послушность полудетскую... Нет, я никого не виню, просто мне очень жаль, очень-очень жаль, что у вас с мамой ничего путного не получилось.

– Путного... непутёвого... Фразеология одна! Да-с!!! Брак выхолощивает души людей. Они пьют до дна страдания, душевные недуги друг друга, всё самое-самое лучшее, светлое, сокровенное... До последней капельки! И – настаёт пустота. Зияющая рана... А потом, по истечении лет, оба стесняются взглянуть друг другу в глаза, ибо читают в них собственные былые слёзы, молитвы, клятвы, потому что видят обнажённость свою в этих самых глазах напротив. И начинается игра в молчанку, начинается бесконечное отчуждение взаимное... А потом – позывы к поиску выхода из тупика. К поиску выхода на другую сторону, к другой душе! Ибо ты привык взваливать самую тяжёлую часть ноши своей на чужие плечи – не на чужие, может, но всё равно... иначе не можешь жить!! Дальше – хуже – измена!!! Я не верю в любовь! Людям была нужна она и они придумали себе Ромео и Джульету! Придумали сказочку про две половинки, что бродят по свету, ищут друг друга...

– Бедный вы мой Сергей Павлович! Но ведь, говоря сейчас всё это, вы это же всё и отрицаете – разом! Вы с таким запалом, с такой болью сейчас произносите такие слова, что всем своим видом как бы даёте понять: не слушай меня, девочка, живи своим умом, дойди до той степени отупения... отчаянья, чтобы поверить в несусветную ложь самой себе, а я, старый пентюх, давно выжил из ума от иллюзий, тоски, от самообольщений и годеи разве что на...

– ...продолжай, ну! Чего замолчала?! На что я годеи??? На вечный поиск чужих душ, чужих тел?! На порхание бабочкой? На что?!!

– Запомните, Сергей Павлович, родной мой, родной, потому что вы были по-настоящему близки с моей мамой, были дороги ей... запомните: я никогда, ни при каких условиях не позволю себе оскорбить ни вас, ни кого бы то ни было. И дело тут не в воспитании – просто я отдаю себе отчёт в том, что человек, любой, живёт так, как может, как живёт. Понимаете??? Не хуже, не лучше – ровно так. Ровно так, КАК ОН УЖЕ ЖИВЁТ. И он не виноват в своей судьбе, в своих пороках! Да, конечно, он мог бы, он реально обязан самосовершенствоваться, стремиться к лучшей доле... Но мы-то с вами знаем, что всё это по большей части только слова. Бывают исключения, сильные личности, но они не в счёт. Масса людей живёт сегодняшним днём и живёт ровно так, как может... Да-с!!!

– Вот ты какая...

– Да уж, такая.

– А говоришь, что вылитая мама... что вы были неразлучны... Она ведь не думала так, как думаешь ты! Она была... другой – чистой, романтической, нежной, дарила мне себя, помогала своим пониманием. Я делился с нею – всем-всем... Плакал, как ребёнок, смеялся, был её продолжением...

– Сергей Павлович, Серёжа... – рука Светы мягко легла на плечо Бородинина – мужчин так просто обмануть...

– Нет, нет! Не верю! Она не могла притворяться со мной! У нас столько всего было замечательного, и каждый раз я убеждался в её высоком благородстве, в её мудрости и целомудрии, в её негасимой любви ко мне! Ты слышишь? А может быть, и ты притворяешься, обманываешь меня – сейчас, в эти самые минуты?!

– Мне-то зачем? А она... она и не притворялась! Просто, находясь с вами, попадала... ну, как бы в иное измерение, понимаете? В любом человеке сосуществуют два «Я». И вот мамино лучшее «Я» принадлежало всецело, без остатка вам, а другая часть – и мне, и остальным людям. Иногда эти половиночки переходили... переливались одна в другую и тогда я совершенно не узнавала маму, хотя любила её всегда и всегда сердцем узнавала, что именно в данный момент и кому именно предназначается. Вот так-то вот...

– Мы были счастливы! Несказанно счастливы, Светка!

– Раз-то в год? Смешно. Человеку этого мало. Человеку всего! мало... Все-го.

Он молчал, потрясённый, не зная, что ответить девушке.

– Да как вы не поймёте, что мне просто невыносимо тошно от того, что не вы... не ты мой отец, что мамы нету давно в живых и мы не вместе сейчас!

Крик души. А ему показалось, что тень, странный призрак Наташеньки, явился к нему с того света в образе дочери и юными устами предъявляет счёт за не сложившуюся жизнь, за то, что он, мужчина всё-таки, пошёл на поводу фантазий нелепых молодой женщины и столько лет, столько невозвратимых лет откровенно загубил. Говорится же: ни себе, ни людям! Возможно, и не был бы он таким бабником не просыхающим⁶, имея семью, детей... Внезапно почувствовал усталость, опустошённость...

– Теперь уже поздно ворошить всё это – выдавил наконец из себя, тотчас поймав ускользающую мысль: поздно ли? Он что, поставил крест на судьбе? Разве память сердца не основа личного жизненного опыта? Разве она безнадежна?!

– Сыграйте что-нибудь – попросила Света.

– Что?

– Не знаю... А хотите, я вам сыграю?

Он не хотел.

– Хочу.

Девушка грациозно, плавно, *белоснежно* скользнула к инструменту... Начала исполнять «РОНДО В ТУРЕЦКОМ СТИЛЕ». Неплохо, на школьном уровне...

– Ну, как? Хорошо?

– Как? Ну-ка, на минутку...

Знаком попросил её освободить стульчик. Удобно устроился сам, превратившись вдруг из неуверенного лирика в одержимого, целеупорного Музыканта... Руки зависли над клавиатурой (девочке померещилось: между кончиками пальцев и строгими рядами пластинок чёрно-белых возникло напряжение, заискрился воздух...], левая нога чуть-чуть откинута назад, корпус наклонён... слегка, самую малость... вперёд, навстречу грядущей волне, которая зарождается в недрах кабинетного рояля, вызревает и... И Светлана – он боковым зрением уловил это – напряглась даже в ожидании чудодейства. Ей – он понял это – выпало на долю невероятное: до конца измерить глубину раскаяния гения, поверив алгеброй сердца молодого, наивного гармонию, может, аберрацию высокую⁶ в исполнении мастера, в его, маэстро этого, бездарной судьбе... Экзамен на соответствие мечты сбывшейся мечтам теперь уже несбыточным... никогда! Подобного испытания он, Бородин, прежде не переживал и потому просто обязан был выдержать сейчас. Тишина, нет-нет, не тишина – пауза, *пауза* \ Ещё мгновение – ворвётся, хлынет поток легчайших, ярчайших, скоротечных, только не скороспелых звуков...

Он резко поднялся, сказал:

⁶ Абберрация – переход от одной тональности к другой в ходе исполнения музыкального произведения

– Я ещё не начал исполнять, а ты уже живёшь предстоящей музыкой, уже гредишь ею... Нужно уметь подчинять себе слушателя всецело, налаживать между вами некий мостик... Понимаешь? Тогда, считай, первый шаг к успеху будет сделан. Ладно, родная моя, не всё сразу. Считай, это был преподан первый урок. Ты как – хорошая ученица?

В ответ – пожатие плечами. Он поймал себя на мысли, что Наташа, Наташенька так ни разу и не побывала в этой его огромной квартире, зато её дочь, Светлана – здесь и, похоже, вполне освоилась на новом месте...

– Ты работаешь, учишься?

– И то, и другое... Сейчас в отпуску.

Метнула на него взгляд, в котором читались и разочарование, и уважительная настороженность, и тоска исступлённая, и что-то ещё, глубинное, взгляд, где соединены ум, воля, приспособляемость к любым житейским передрягам, также холодный расчёт, дерзость, свойственная юности...

– Какого цвета у тебя зрачки?

– Болотного...

– Подойди, подойди поближе...

Рассматривал прекрасные, сияющие очи и силился вспомнить, какие глаза были у Натальи. Не мог...

– У меня мамины глаза. У меня всё мамино. Знаете, иногда нас даже принимали за сестёр, настолько я на неё похожа. И если бы не разница в возрасте...

Ему невероятно захотелось дотронуться до девушки, обнять её, прижать к груди и долго-долго гладить эти плечи, головку, тихонечко ласкать, ласкать, возвращая долг обеим... с чувством признательности за поддержку на кладбище...

– Я не кусаюсь. – Игриво, непринуждённо улыбнулась...

– Почему ты действительно не моя дочь?

И вдруг его осенило: Наташенька не хотела обременять его, привязывать к себе! «Так значит, она не до конца обманывалась! Значит, всё же была права?..»

– Удочерите меня – стану вашей. Твоей.

– Расскажи об отце.

– Я его практически не знаю... И знать не хочу. Кажется, у него есть ещё одна дочка, моя сводная сестра, но только я её никогда не видела. Во-от... Что ещё?

– Ты должна его отыскать. Ведь, что ни говори, а он – твой папа. Понимаешь? Твой родной папа.

– Нет. И не будем больше возвращаться к этой теме. Я для него – отрезанный ломоть. Как и он для меня, если, конечно, уместно так говорить о родиче. Он забыл меня... нас с мамой. Что ж, значит, мы ему не нужны. Зачем навязываться? Алименты проплатил – хватит! Верно?

– Ты – мудрая?

– Светланка-премудрая!

Он улыбался. Улыбался, внутри же всё горело, переворачивалось... Отчётливо осознал: она, Света, ещё прекраснее, чище, *родимее* Наташеньки. Ибо она и была отчасти его покойной Натальей – раз, её органичным продолжением, а в мгновения странные эти выглядела особенно волнующе, влекомо – два. Но зачем, для чего дан ему подарок судьбы такой? Искушение сладчайшее??

– Я буду тебя очень любить, беречь... Спасибо, что вспомнила обо мне.

– Я никогда не забывала вас, Сергей Павлович, ваших слёз тогда... Они многое перевернули во мне... Сказать правду, хотите? Всю-всю, без утайки!

– Правду нужно говорить всегда, а не держать её взаперти, потому что на дне души она может незаметно переродиться в ложь. В кривду. Бытует утверждение, мол, правда хорошо, а

счастье лучше. Но какое счастье без правды, без торжества справедливой истины, не важно – относительной или абсолютной...

– Слова! слова, Сергей Павлович! Любите вы, взрослые, говорить разные красивые слова, изрекать высокопарные мудрости. А ведь я вас ненавидела, хуже – откровенно презирала. За то, что сотворили вы с моей мамой. Когда я похоронила маму – голос девушки зазвучал глухо, *разбито* – на могилке её поклялась, что отыщу вас, отыщу единственно для того, чтобы втереться вам в душу, а потом, потом... не знаю, чтобы я потом сделала, но только обязательно бы вам отомстила за маму, слышите, вы, гений! так бы отомстила, что мало бы вам не показалось... И как же я ненавидела вас на кладбище, в первый раз, как ненавидела тот ваш огромный букет, от которого буквально разило чем-то ненастоящим, чем-то напыщенно-показным, неискренним... Мама любила ландыши, а розы ненавидела. Вы же притащили целую охапку именно роз! Потом, когда мы ушли, вы – в гостиницу, а я – в опустевший дом, я порывалась на кладбище, чтобы схватить этот ваш, извините, дорогуший, благоухающий веник и вышвырнуть его на мусорную свалку, к отцветшим цветам, к прочему хламу. Что меня сдержало тогда? Наверно, нехорошо грабить погосты! Кошунство и святотатство это! Вандализмом нравственным отдаёт! А на следующее утро таки пошла, сама не знаю, что меня дёрнуло! И увидела вас, ваши слёзы... И стало мне жалко-жалко вас, Сергей Павлович, так жалко, как никогда и никого в жизни не жалела. Хотите верьте, хотите – нет! А когда затряслись вы в моих объятиях, то поняла вдруг, что вы для меня стали самым близким, самым родным человеком, что всё-всё вам прощу, что стану для вас *ею*, вашей Наташенькой... Что-то обожгло меня тогда... и тогда же, *там*, я опять поклялась, поклялась на той же самой могилке, поклялась мысленно, что буду вам помогать, стану заботиться о вас... За мамочку, которая не дожила, которая так мало, так редко делала это. А ведь так хотела, мечтала... Да, за мамочку и ещё просто потому, что весь вы какой-то неухоженный, заброшенный, одинокий... Беспомощный! Беззащитный... Вот так, Сергей Павлович! И завязывайте-ка ваши похождения, приключения, знакомства! А то ведь я и передумать могу!

Потом она сидела на его коленях, гладила вороные с проседью волосы, улыбалась странной, задумчивой улыбкой, что-то щебетала. Он же – *перемежался*, раздваивался: с одной стороны, чувствовал влечение к ней, но не прежнее, возникавшее при встречах с женщинами разными, а скорее с предвкушением наслаждения (или наоборот – с наслаждением от предвкушения?)... но тотчас, в противовес, совершенно успокаивался, проваливался в некое забытё, в нирвану буддистскую(!), однако и сознавая, что ему даётся нечто вроде отпущения грехов – существующих? вымышленных? Всё равно грехов... И ещё потом он пытался отогнать от себя крамольную мысль – её сам же почему-то назвал, СМЕРТИЮ СМЕРТЬ ПОПРАВ. То есть, встретившись со Светой, заранее обрёл себя на полное уничтожение всех последующих *встреч*. И это во многом способствовало продолжающейся в нём работе по переоценке духовных ориентиров, по дальнейшему становлению личности его, Бородина, без чего немислима стала бы работа и другая – над «ЗЕМНОЙ»...

– Как жить? Как мне жить?!!

Мучительно воскликнул вдруг и Светланка, теребя ласково причёску его, с нескрывае-мой, отчаянной горечью ответила:

– Научусь когда сама, подскажу!

...Ещё позже они обсуждали чисто жизненные вопросы, связанные и с домом, где раньше проживала с покойной матерью, – продавать, не продавать? и с её учёбой, работой, переводом в Москву, регистрацией и пропиской здесь... Дел предстояло много, невпроворот, все – перво-востатейные, не терпящие отлагательства. После (он помнил, помнил!) стала накатываться из ниоткуда волна въедливой, зудящей хандры, отчаянья, непонимания того, а что же *далее-то*? Смешанные чувства эти рождали неудовлетворённость, пики которой приходились на те минуточки, даже секунды, когда Светлана порывисто и доверчиво прижималась к нему, целуя

пьяно, безумно, *вцеловываясь* в него всем существом и напоминая при этом то Наталью, то... собирательный образ идеальной женщины, который почти для каждого мужчины выглядит конкретно-неосуществимо, невозможно и который лично он, Бородин, тщетно искал на расхожих дорогах судьбы... Боясь переступить черту, чтобы не потерять Богом данное, держал себя в руках, из последних сил обуздывал страсть, вожделение. Был начеку...

– Говоришь, не кусаешься?!

Оба рассмеялись – злой, ненасытный, колдовской смех наполнил комнату... Сергей же Павлович сквозь потоки бурные этого хохочущего выплёскивания наружу двух дьявольских душ как бы краем глаза, увидел *вспышечно*: себя, привязанного колючей проволокой к забору... супруга Анастасии Васильевны, избивающего его, тогда ещё мальчика Серёжу, за то, что развалил высокую башенку из кубиков... и – последнее – девочку в беленьком платьице на солнечноизумрудном косогоре с кринкой парного молочка в одной руке и невидимым белым же платочком – в другой: машет, машет ему пацанёнку то ли приветствуя, то ли навсегда прощаясь...

Он понимал и не понимал: или Светлана проверяет его на верность, на прочность... или, разочарованная, одинокая, сама бросилась с головой в омут родимый, надёжный... из памяти сердца в предательский сон наяву. В безумье своё и – его.

4

«ЗЕМНАЯ СОНАТА», говорилось уже, состояла из четырёх огромных частей: «ЧЕЛОВЕК», «РОДИНА», «МИР», «БОГ».

«ЧЕЛОВЕК»

Вот мы и подошли к главному: что это такое – Человек??? Кажется: куда как проще постичь самого себя, осмыслить, а если требуется, и переосмыслить путь пройденный (найденный ли?!), разложить по полочкам натуру собственную, понять и оценить непредвзято всё, с тобой связанное, соизмерив силы, отпущенные «свыше» на преодоление вёрст предлежащих, с теми силами и ресурсами внутренними, которые затратил, продолжаешь тратить, шагая за путеводной звездой ли, к очередному рубежу... Да-да, разложить, оценить и при всём этом наверняка испытать противоречивые чувства! Куда как проще создавать, каждодневно выковыливать характер свой, а не только наблюдать со стороны, фиксировать в дневниках, архивах, на скрижалях символических превратности долюшки, замысловатые перипетии, движения спонтанные привходящих каких-то моментов, нюансов, обстоятельств... Наконец, если и наблюдать, анализировать импульсы, течения, алгоритмы и многое-многое прочее, то не просто заведомо обрекая душу на пассивную созерцательность и философичность.

Ан, нет! Видит око, да зуб неймёт! Потому что каждый из нас гораздо сложнее, непредсказуемее. И более чем предвзято подходит к оценке личностных качеств, свойств. Поддаётся, давно поддался искустельнейшему из искустельнейших кругу замкнутому: согрешил – покаялся, вновь согрешил... Не потому ли боимся смотреть в зеркало и вникать в сущность отражённого там двойника? Разумеется, кроме тех случаев, когда наводим марафет на лице (особенно относится сие к прекрасному полу!) перед выходом в люди, в свет. Православная религия говорит о семи смертных грехах... Но ведь по большому счёту грехов этих больше – любая добродетель несёт в себе и возможность того, что... переборщил с нею человек, от чего набивает оскомину, становится невыносимой и постепенно делается «хуже горькой редьки» она!! Ладно, если бы только так, но для многих минус этот кажется огромным пороком, с которым, с возможными последствиями которого приходится и считаться, и бороться...

В предыдущих строках в той или иной степени поднимался вопрос: чего же больше в человеке – добродетельного или греховного, звериного, иначе говоря, животного – или высо-

кого, подлинно одухотворённого? Иногда кажется, и даже не кажется... реально проникаешься убеждённой стопроцентной, что в любом смертном имеется буквально всё, ведь мы совершенно одинаковы: любим, страдаем, творим, искушаем друг друга несбыточными надеждами, мстим, рыдаем, самообольщаемся, мечтаем, хохочем до упаду, потакаем слабостям, порокам – врождённым и приобретённым, лжём, завидуем – и при этом на что-то ещё рассчитываем, к чему-то заветному стремимся изо дня в день!.. Мы – капли воды! Неотличимы внутренне, хотя разнимся внешне. И одиозны, и гнусны. И одержимы, и окаянны... Перечисленными и неназванными гранями, сторонами характеров обладает каждый, только... в разной степени и при неодинаковых обстоятельствах, что, собственно, и выделяет личность... Делает её индивидуальностью.

К чему сентенции, спросите вы? И без того яснее ясного картина человеческого бытия, бытия духа и глины, духа и бездушия полнейшего!

Но разве на каждый вопрос должно отвечать? Разве нельзя обойтись молчанием мудрым и ещё раз пристальным оком взглянуть внутрь «Я» своего – не на отражённую в зеркале (не кривом бы!) копию, но именно вглубь самого себя?! Что там, на дне, и не под слоем амальгамы, а во взоре взыскующем? Какими путями-дорогами шёл ты, человеке, какими пробирался тропами к нынешнему рубежу, к сегодняшнему состоянию? Разворачивая незримый свиток чьих-то предыдущих стараний, инстинктов, увлечённостей, поражений и побед, памятей и заблуждений, станешь только лучше, отчётливее понимать и более поздние наслоения, многое иное, что привнесено дедами, отцами, впитано с материнским молоком! Опираясь сущностью своей на фундамент сей обширный-прочный, основательно постигнешь то, что сам выработал, воспитал в натуре своей, начиная, как говорят, с младых ногтей. Греховного, животного больше в тебе – или одухотворённого, высоко гуманного... Какой есть – такой и есть и никуда от себя не денешься!

Праздные мысли, соображения? Набившие оскомину темы? Быть может!.. И, конечно, ничего глубокого, родниково-свежего в них нет. Почему-то можно создать *другую* музыку – гармонию, необыкновенный поэтический образ, супермодный дизайн... можно из современных материалов на века возвести нечто уникальное, неопишимо-колоритное, а по лекалам фантастическим скроить наряд бесподобный, причудливый и функциональный сразу, однако словами затасканными, обиходными практически нельзя сконструировать качественно *новую* мысль о чём бы то ни было брэнном и вечно старом, вечно... молодом! о жизни и смерти самого духа человеческого, смысле и бесцельности пребывания нашего под небом синим. Несправедливо это, но факт. Ибо слово каждое-любое суть открытое настезь нечто, оно подстать имени: звучит, а мы уже ассоциативно представляем облик, очертания, изнанку предмета называемого, лица, образа, идеи обозначаемых; слово – это предтеча чего-то в той или иной мере значимого. То есть, изначально доступное пониманию, оно, слово *первое*, уже не ново, оно *уже* не сулит откровений-открытий никаких! Вот почему и пытаться нечего словесами выражать качественно прогрессивное, новое, от *эврики* \, искать его, это самое современное и неискушённое, на ниве глубокомудрия, философствований, логических изысканий... Тщета сует!

Тщета сует... Но коли так, следовательно, предыдущие рассуждения о том, что же это такое – Человек, представляются по большому счёту надуманными, высосанными из пальцев. Отрицать глупо. Для чего же тогда автор начал разглагольствования оные? Ведь пустопорожние *оне* \ И кто они – Глазов, Бородин? Плод фантазии, призраки, чьи-то отражения, воплощения – и не чьи-то, а вполне конкретных лиц, являющихся, так сказать, прототипами упомянутых персонажей? Вопросы, вопросы... несть числа вопросам, как и нет ответов на них! Однажды мудреца спросили: для чего живёт человек? И ответил старец: ДЛЯ ВСЕГО. А ведь так оно и есть. Не для счастья, которое и бывает счастьем на фоне горя, страданий, безысходности, несбывшегося... не для любви, поскольку она суть свет в душе, а свет – это единение сотен и тысяч оттенков спектра, где нашлось место даже чёрному цвету: ревности, зависти,

эгоизму, собственничеству, измене и, главным образом, нравственному, духовному предательству... не для мирного творческого созидания, так как подпитывается оное потребностью самовыражения при наличии зрелой цельности и критической, выношенной на протяжении жизни всей самодостаточности, необходимости истинной независимости от тех или иных сил, кишмя кишущих вокруг и рядом... не для продолжения рода – чересчур было бы просто, по-животному... не для осмысления того, что постоянно происходит, видоизменяется в мире, во вселенной, в бесконечности бесконечностей, ибо куда уж тут нам, пигмеям, тягаться с вечностью... не для иного чего... Нет. Живём мы, грешники, ради всего этого. ВСЕГО ЭТОГО. Любой другой ответ был бы слишком узким, односторонним, до примитивизма неполным, наивным... Поверьте!

И задайтесь ещё одним вопросом: частенько ли мы, люди, размышляем таким вот образом на подобные глобальные темы? Признайтесь чистосердечно самим же себе: нет. Тогда отчего потянуло автора на заумные изречения? Не потому ли, что кровно связан он с композитором? что вообразил живо: Глазов – средоточие нервов, артерий, жил и вен человеческих, сгусток энергий, плазма! Плазма, растекающаяся вне границ и рамок по просторам общечеловеческого бытия, сознания пусть даже только на страницах романа, а не в действительности! Плазма, удерживаемая и управляемая волей того, кто сотворил её из неких *собственных* предтеч, кто задался аналогичными и не просто сакральными вопросами, ответы на которые лежат за пределами досягаемости *творческой*...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.